



С. Б. ЛЮБОШ

Николай II*

ГЛАВА 1

Венчанная пошлость

В начале воцарения Николая II в Петербург приезжал принц Уэлльский. Будущий король Эдуард VII был дядей Алисы Гессен-Дармштадтской — императрицы Александры Федоровны.

Во время одного из завтраков, когда Эдуард, Александра и Николай остались втроем, дядя, обратившись к племяннице, вдруг сказал:

— Как профиль твоего мужа похож на профиль императора Павла, — что очень не понравилось, как отмечает Витте в своих воспоминаниях, как императору, так и императрице.

В разговоре с П. Н. Дурново, Витте сказал, что Николай производит на него впечатление совсем неопытного, но и неглупого, а главное, весьма воспитанного молодого человека.

На это П. Н. Дурново заметил:

— Ошибаетесь вы, Сергей Юльевич, вспомните меня — это будет вроде копии Павла Петровича, но в настоящей современности.

«Я затем часто вспоминал этот разговор, — говорит Витте. — Конечно, император Николай не Павел Петрович, но в его характере немало черт последнего и даже Александра I (мистицизм, хитрость и даже коварство), но, конечно, нет образования Александра I. Александр I по своему времени был одним из образованнейших русских людей, а император Николай, по нашему

* Впервые: Любош С. Последние Романовы. Л.; М.: Петроград, 1924. С. 185–287. Печатается по: Любош С. Последние Романовы. М.: Астрель; СПб.: Полигон, 2010. Раздел «Николай II». С. 175–271.

Любош (Любошиц) Семен Борисович (1859–1926) — русский литературовед, критик, журналист и публицист. — *Примеч. сост.*

времени, обладает средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства».

На русский престол вступил неожиданно для всех — Александр III умер, не достигнув 60 лет — 26-летний молодой человек, маленького роста, невзрачный и застенчивый.

И когда, менее чем через 3 месяца после своего воцарения, этот молодой человек, в котором не было решительно ничего царственного, встретил съехавшихся и явившихся к нему во дворец с поздравлениями солидных общественных деятелей знаменитым окриком о «бессмысленных мечтаниях», то это было не страшно, а только жалко и комично. Несчастный царь, который грозился следовать по стопам папеньки, производил впечатление «подростка, который путается в отцовских штанах».

Было в этом молодом человеке нечто от Павла Петровича, но было нечто и от Петра Федоровича, несчастного супруга Екатерины II. Было и нечто от Федора Иоанновича, не от того царя Федора, которого так идеализировал Алексей Толстой, а от «скорбного главою» исторического, неспособного к делу управления царя.

Когда после долгих цензурных мытарств была разрешена постановка «Царя Федора», публика в некоторых сценах трагедии упорно видела аналогию с царем Николаем II, а в Годунове улавливала черты сходства с Витте.

Последнего Романова роднило с последним Рюриковичем богомольное пустосвятство и печать исключительной бездарности, неизменно сопровождавшей все его начинания.

Разные бывали цари на Руси, по-разному играли они свои исторические роли, но страшнее, кровавее всех был этот вежливый, воспитанный и застенчивый невзрачный Николай второй, начавший Ходынккой и кончивший Распутиным. Ни один царь, даже такой патологический палач, как Иван Грозный, «мучитель и мученик», которого Пушкин назвал «гнев венчанный», не стоил России столько крови.

Между тем он не был ни особенно жесток, ни грозен.

Николай был по преимуществу обыватель, мелкий и мелочный, с истинно-мещанской душой. Он был воплощением обывательской пошлости. Недаром он был современником величайшего после Гоголя бытописателя серой, нудной, обывательской жизни. Николай был чеховский тип.

Александр I был неудавшимся декабристом, Николай I был убежденным жандармом и прямолинейным фронтовиком, Александр II был мягкотелый либерал сороковых годов, испуганный радикализмом шестидесятников, Александр III был убежденным земским начальником из потомственных дворян, — нечто среднее между Тарасом Скотининым и Собакевичем. Все они могли быть страшны, жестоки, тупы, но пошлыми их назвать нельзя было. Только с воцарением Николая II на всероссийский престол воссела пошлость.

И эта венчанная пошлость была хуже и страшнее «венчанного гнева» такого садиста, как Иван Грозный.

Впрочем, вначале Николай II мало проявлял себя. Он действительно старался идти по «стопам папеньки», точно чувствуя, что сам он никакого пороха не выдумает.

Отец был строг, и при нем сын не смел проявлять даже обычного «либерализма кронпринцев». Так как никто не ждал скорой смерти такого здоровяка, как Александр III, то о наследнике как-то мало думали и мало им интересовались. Довольствовались слухами о том, что молодой человек, обнаруживавший некоторые, часто свойственные молодым людям порочные наклонности, был с гигиенической целью, с соизволения мамыши и стараниями придворных, сведен с известной балериной, что у этой балерины появился шикарный особняк на одной из лучших улиц столицы. Сплетничали, что балерина эта жаловалась на невыгодность такой связи, так как платили ей всего 10 тысяч рублей в месяц, а наследника, бывшего у нее очень часто, приходилось угощать тонкими, дорогими винами. С другой стороны, обыватели, по типичной обывательской психологии, ждали от этой связи смягчения нашей польской политики, так как высочайшая фаворитка была полька.

Александр III, кажется, один только не знал об этой почти публичной связи своего сына. Он был родитель и семьянин твердый и строгий, в стиле Кит Китыча, и, как часто бывает с такими строгими господами, не видел многого из того, что творилось у него перед носом.

Когда Александр III умирал в Ялте и не могли помочь ему ни врачевание Иоанна Кронштадтского, ни колдование идола московских толстосумов, профессора Захарьина, поспешно была выписана из Германии Алиса Гессен-Дармштадтская и помолвлена с наследником. Она раньше как-то приезжала в Петербург,

но тогда не понравилась и была отослана ни с чем. А тут уже раздумывать и выбирать было некогда.

Здесь не было и тех неосновательных надежд, которые связаны были с появлением в роли русской императрицы датчанки Дагмары, Марии Федоровны.

В юной императрице видели типичную немецкую принцессу, одну из многих, неизменно появлявшихся на русском престоле. Впрочем, Александра Федоровна отличалась чисто английской чопорностью, так как на всем ее облике была печать не *made in Germany*, а *made in England*.

Впервые проявил себя юный царь в Москве во время коронации.

18 мая 1895 года на Ходынском поле, благодаря бестолковости и бездарности московской полиции, было задавлено на смерть, изувечено и искалечено несколько тысяч человек, мужчин, женщин и детей.

Эта ужасная катастрофа, вызванная организацией раздачи жалких царских подарков народу, вызвала всеобщее чувство ужаса.

Но Николая убедили, что этот ужас не должен помешать коронационным торжествам. И концерт, назначенный на тот же день на том же Ходынском поле, через несколько часов после того, как это поле было усеяно тысячами раздавленных людей, не был отменен и Николай приехал на этот концерт.

Вечером того же дня должен был состояться бал у французского посла — и бал, по настоянию свыше, не был отменен, и царь с царицей посетили этот бал как ни в чем не бывало.

«Хозяином» Москвы в это время был дядя Николая, Сергей Александрович, самый тупой, злобный и самый бездарный из сыновей Александра II, из которых никто, Впрочем, не подымался над самой серой посредственностью. И генерал-губернатор Москвы после Ходынки не только не подвергся никакой ответственности, но даже не был отозван со своего поста.

Тут царь Николай II в самый торжественный момент своего царствования обнаружил и перед Москвой, и перед всей Россией, и перед всем миром все свое моральное убожество.

Все понимали, что возмутительное отношение царя к его «гостям» из народа, к жертвам Ходынской катастрофы — не проявление сильной, хотя и жестокой воли, которая, невзирая ни на что, идет своим путем. По самой личности Николая II, мелкой и ничтожной, было слишком ясно, что это лишь проявление того

психического убожества, которое вообще характерно для всего неудачливого жития последнего Романова и которое прекрасно можно было бы выразить словами Тургенева:

«Сидит человек по уши в грязи и показывает вид, что ему все равно, когда ему на самом деле все равно».

Сразу обрисовался этот царь-недотепа, этот ходячий «двадцать-два несчастья».

Тогда же произошел незначительный инцидент, о котором нигде не было сообщено. О нем лишь теперь рассказывает бывший министр Извольский в своих воспоминаниях.

Как камергер двора, Извольский был назначен вместе с шестью другими камергерами поддерживать императорскую мантию, которую царь надевал во время ритуала вручения ему скипетра и державы перед возложением на голову императорской короны. В самый торжественный момент церемонии, когда Николай проходил к алтарю, чтобы совершить обряд помазания, бриллиантовая цепь, поддерживавшая орден Андрея Первозванного, оторвалась от мантии и упала к ногам царя. Один из камергеров, поддерживавших мантию, поднял цепь и передал министру двора, графу Воронцову, который положил ее в карман.

Все это произошло очень быстро, и заметили это только лица, находившиеся около царя, которым после церемонии приказано было об этом умолчать. Но на Николая, только что пережившего Ходынскую катастрофу и по природе склонного к суеверию, этот случай произвел удручающее впечатление и оставил глубокий след в его слабой, неустойчивой психике.

ГЛАВА 2

Черты характера

Самым умным и даровитым из советников Николая II были Победоносцев и Витте.

Убежденный апологет застоя, Победоносцев, этот черный нигилист, веривший только в силу насилия, и ловкий, энергичный, дельный и беспринципный Витте были самыми выдающимися государственными людьми последних двух царствований.

Оба они достались Николаю по наследству от отца. Сам он тяготел только к посредственностям и бездарностям. Но с Витте и с Победоносцевым Николай считался лишь постольку,

поскольку они потворствовали его мелкой и близорукой личной политике.

Моральная оценка людей и у Витте, и у Победоносцева не отличалась особой требовательностью, но и эта нетребовательность была еще слишком высока для Николая. В выборе людей, в назначении своих министров царь опускался гораздо ниже своих авторитетнейших советников.

Когда понадобилось назначить нового министра внутренних дел, Николай остановился на двух кандидатах: Плеве и Сипягине.

На ближайшем докладе Витте царь поинтересовался его мнением об этих кандидатах. Витте, хотя и в достаточно дипломатической форме, высказался об обоих кандидатах совершенно отрицательно. В Сипягине он отметил его неподготовленность, а в Плеве полное отсутствие убеждений и совершенную беспринципность.

Тогда Николай попробовал почерпнуть сведения из другого источника. Он знал, что Витте и Победоносцев обыкновенно резко расходятся по основным вопросам, и он обратился за советом о кандидатах к Победоносцеву.

Старый обер-прокурор не был столь дипломатичен, как Витте, притом он был более уверен в прочности своего положения и менее считался с характером Николая, своего бывшего воспитанника.

Победоносцев заявил с исчерпывающей откровенностью:

— Сипягин дурак, а Плеве — подлец.

Николай выслушал это сообщение молча. Получив столь определенную и согласную оценку своих кандидатов от людей столь различного характера и столь несомненной опытности, Николай назначил в последовательном порядке обоих. Сначала «дурака» Сипягина, а когда тот, за свою невыносимо глупую политику, на которую его усиленно толкал сам Николай, был убит, то был назначен «подлец» Плеве, который за свою подлую политику тоже был убит.

Витте в своих «Воспоминаниях» очень тепло относится к Сипягину. Он не отрицает его глупости, непонимания, узкой дворянской реакционности, но характеризует его как человека честного, бесхитростного и прямого.

Но для Николая Сипягин представлял особую ценность: Николай мог считать себя умнее своего министра, а такое удовольствие Николаю доставалось не часто.

«Он знал, что находится в большой опасности, — говорит Витте о Сипягине в своих «Воспоминаниях». — Перед самой смертью,

за несколько дней, я с ним вел беседу в присутствии его жены и говорил ему о том, что в некоторых случаях, по моему мнению, он принимает чересчур резкие меры, которые по существу никакой пользы не приносят, а между тем возбуждают некоторые слои общества, и слои благонамеренные, и, во всяком случае, умеренные, на что он мне сказал: может быть, ты прав, но иначе поступить я не могу, наверху находят, что те меры, которые я принимаю, недостаточны, что нужно быть еще более строгим».

После убийства Сипягина дворцовый комендант Гессе, получивший личные бумаги, оказавшиеся в кабинете Сипягина, две тетради его дневников передал царю.

Через несколько дней, когда вдова Сипягина явилась благодарить царя за внимание, Николай сообщил ей, что дневники мужа находятся у него, и просил разрешения задержать их для прочтения. Вдове, конечно, пришлось согласиться. Прошло много месяцев, и дневников ей не возвращали. Тогда она, через племянника своего, флигель-адъютанта Шереметьева, решила напомнить Николаю о дневниках.

Затем, при одном из ее представлений царице, к ней вышел Николай, вручил ей пакет и сказал, что с благодарностью возвращает ей мемуары ее покойного мужа, которые очень интересны.

Возвратившись домой, Сипягина увидела, что в пакете находится только одна тетрадь мемуаров, та, в которой были записи за время, когда Сипягин был главноуправляющим комиссии прошений, второй же тетради, в которой были записи за время, когда Сипягин был министром внутренних дел, не оказалось.

Сипягина обратилась за разъяснением недоразумения к старику Шереметьеву, тот — к Гессе. Гессе сказал Шереметьеву, что передал царю все, что получил, т. е. обе тетради.

Дурново, который вместе с Гессе по поручению Николая разбирал бумаги Сипягина, также удостоверил, что он передал Гессе две тетради мемуаров.

Когда Шереметьев завел об этом разговор с Николаем, тот стал увертываться и заметил, что Гессе не был в ладах с Сипягиным и, найдя в мемуарах что-нибудь нелестное для себя, вероятно, их уничтожил. Шереметьев же сказал Витте:

— А я знаю достоверно, что эту тетрадку уничтожил сам государь.

«Я мемуаров Сипягина не читал, — говорит Витте, — но жена его мне говорила, что он писал в них все совершенно откровенно.

Сипягин же был честнейший и благороднейший человек, совершенный дворянин, ультраконсерватор; он в последние полгода своего министерства откровенно и с большою горечью мне говорил, что на государя полагаться нельзя и, главное, государь неправдив и коварен. Это он в отчаянии говорил и своей жене».

Так как Витте в этом эпизоде ничем лично не заинтересован, то тут его «Воспоминаниям» можно верить вполне.

Итак, Николай II, царь и самодержец всея Руси, украл у вдовы убитого из-за него министра тетрадь мемуаров, а потом увертывался, лгал и старался свалить это воровство на одного из своих слуг.

Николай I тоже уничтожил в дворцовых хранилищах множество ценных исторических документов. Но он, кажется, при этом не лгал, не увертывался и не клеветал на других.

Николаю II часто приходилось уступать своим министрам и сановникам, особенно таким настойчивым, как Витте или Столыпин, и таким юрким, как Плеве, или таким по-солдатски упрощенным и решительным, как Трепов. Он почти никогда не оказывал прямого противодействия, но всякая такая «победа» дорого обходилась его слугам. Царь трусливо затаивал «обиду» в душе и затем коварно мстил, выжидая случая.

Это испытали на себе все: и Плеве, смерти которого Николай почти открыто обрадовался, и Столыпин, которого он в конце стал третировать с присущей Николаю мелочностью. Во время киевских торжеств, при поездке по Днепру для Столыпина не оказалось места ни на царском, ни на свитском пароходе. Испытали это еще в большей мере и Витте, и даже Победоносцев.

Витте, бывшему противником Победоносцева и настаивавшему на его уходе, пришлось хлопотать, чтобы старик был отставлен с соблюдением приличий, а не узнал об этом неожиданно из газет, и чтобы за ним была оставлена его казенная квартира.

Чувство благодарности было, по-видимому, совершенно чуждо Николаю II. Никакие заслуги перед ним, никакие жертвы, для него принесенные, не обеспечивали положения, не гарантировали от обид, коварства и каверз.

Те же качества проявлял Николай и в отношениях международных. Будучи в союзе с Францией, он в Биорке, по секрету от своих собственных министров, заключил и подписал тайное соглашение с Вильгельмом. Такое же коварство он проявил по отношению к Китаю, и довел дело до Японской войны.

Его внешняя податливость создала ему, особенно в молодости, репутацию обаятельности в личном общении. Он казался таким симпатичным, мягким и скромным, что за этим многие не сразу замечали мелкое коварство, моральную нечистоплотность, прямо нечестность.

В свое время и Павел Петрович, когда с молодой женой совершал путешествие по Европе под именем графа и графини Северских, тоже произвел обаятельное впечатление даже при избалованном французском дворе. Там нашли русского наследника приветливым, милым своею непринужденностью, даже остроумным...

ГЛАВА 3

Красноречие слов и дел

В Харьковской губернии были крестьянские волнения. Губернатор князь Оболенский усмирал, а усмирив, устраивал поголовные, в губернском масштабе, порки крестьян. Губернатор самолично объезжал усмиренные местности и самолично же распоряжался поркой. Эти расправы чрезвычайно радовали Николая, который запечатлел резолюцией, что губернатор «молодец».

На Кавказ был послан другой князь — Голицын, человек необыкновенной глупости, злобности и взбалмошности.

Он в самое короткое время сумел восстановить весь Кавказ против русского владычества и русских порядков. Голицын сумел достигнуть даже того, что до него никому не удавалось: острая национальная рознь между грузинами и армянами, армянами и мусульманами — потеряла свою остроту, потому что все, и даже большинство русских, объединились в общем чувстве ненависти против царского сатрапа. Николай вполне одобрял политику Голицына, самая подлая русская печать, с «Новым временем» во главе, захлебывалась от восторга.

Голицын, с царского благоволения, пошел даже на то, на что никогда не покушались ни турки, ни персы.

Он наложил свою полицейскую лапу на армянские церковные имущества. Это имело огромное значение потому, что у армян церковь живая. Вся благотворительность, все дело национальной культуры и национального образования тесно связаны с церковью, и никакие мусульманские зверства никогда не покушались на эту интимную духовно-национальную сторону армянского

быта. Только православный русский царь, «защитник христианства», позволил своему холопу так грубо вторгнуться в эту область.

Такую же политику и с таким же успехом вел Николай в Финляндии, послав туда Бобрикова и занявшись «обрусительством».

Ни Николай I, ни Александр III в своем упоении самодержавием, в своей непримиримой ненависти ко всяким проявлениям конституционности, не позволяли себе так грубо нарушать финляндскую конституцию. Они все же считали себя связанными словом Александра I.

Николай II, трусливый и безвольный, и тут проявил свое коварство, и дождался убийства Бобрикова.

Как известно, Николай II не был ни красноречив, ни находчив. Люди, представлявшие ему, в особенности знатные иностранцы, часто попадали в мучительно-неловкие положения. Царь не находил нужных слов и не умел придумывать ненужных, безразличных. Получались тягостные паузы.

После революции 1905 года кто-то надумился выпустить маленькую книжку: «Собрание речей его императорского величества Николая II». В этой книжечке были собраны только изречения и телеграммы, в свое время напечатанные в «Правительственном вестнике», и приведены без всяких комментариев. Получилось нечто поразительное, такой махровой глупостью и бездарностью повеяло от этого букета.

С утомительным, удручающим однообразием повторялись шаблонные, бесцветные фразы, почти одни и те же на все случаи.

Полиция поспешила изъять эту брошюру из обращения, настолько эта стенографическая «правда» оказалась «хуже всякой лжи».

Вообще обычные фразы Николая II: «Пью здоровье» и знаменитое «Прочел с удовольствием» набили оскомину всем его «верноподданным».

Впрочем, не все и не всегда Николай «читал с удовольствием». У него были свои взгляды и свои установившиеся мнения, которые он при случаях и выражал.

П. Е. Щеголев, пересмотревший несколько сотен всеподданнейших докладов, цитирует некоторые такие высочайшие резолюции, которые особенно ярко отражают психику царя.

27 сентября 1912 года военный министр ген. Сухомлинов докладывал царю, что невозможно «обеспечить в настоящее время

церковными причтами те части, которые их по штатам не имеют, ибо, — объяснял министр, — едва ли последует согласие министерства финансов и государственного контроля на ассигнование новых кредитов».

Царь «изволил начертать»:

«Военное ведомство обязано потребовать кредиты на удовлетворение важнейшей нужды в войсках. Упадок веры грозит началом нравственного разложения человека, особенно русского. Тут мало значит мнение того или другого — раз я этого хочу». Последние слова Николай подчеркнул.

Тут, в этой резолюции, и целое мировоззрение, и своеобразная философия, и программа.

Во-первых, утверждение своего самодержавия: «Я этого хочу». Это особенно комично звучит в устах царя, который именно хотеть-то и не умел. Как все бесцветные люди, Николай II любил подчеркивать не просто свою волю, а свою царскую «непреклонную» или «неизменную» волю, от которой неизменно ему приходилось — и очень скоро — отклоняться, нередко в противоположную сторону.

Затем, в резолюции сквозит уверенность в особой природе русского человека, которому религия нужнее, чем другим людям.

И еще выявлено сознание важности агитационной роли религии.

Религию Николай, конечно, понимал, главным образом, со стороны ее обрядности.

«Горестно», начертал Николай против слов доклада владимирского губернатора, доносившего в 1908 году, что в «среде самого православного населения, особенно сельской молодежи, за последнее время замечается упадок религиозности, сопровождающийся уклонением от посещения храмов Божиих и от исполнения установленных Православной церковью обрядов».

Вообще коронованный обыватель, правивший Россией, весьма заметно отстал и в своем общем развитии, и в своем мировоззрении от современного ему среднего русского обывателя, не только столичного, но и провинциального.

Обыватель, который стоял бы против народного образования, против всеобщего обучения, стоял бы во времена Николая II ниже среднего обывательского миропонимания.

Олонецкий губернатор, думая, вероятно, угодить молодому царю, в своем отчете за 1896 год сообщает, что за год в его губернии

открыто 117 народных школ, что это делается «в целях скорейшего осуществления плана всеобщего обучения».

Последние слова Николай II подчеркнул и против них написал: «излишняя торопливость совсем нежелательна». Последние слова своей резолюции царь также подчеркнул, чтобы этой струей холодной воды вернее остудить пыл наивного губернатора, вообразившего, что молодой царь желает расширения народного образования.

Но были и такие доклады, которые радовали царское сердце.

Виленский губернатор в отчете за 1897 год писал, «что введение питейной реформы последовало вполне успешно и было встречено сочувственно всеми классами христианского населения».

Это христианское отношение к казенной водке очень обрадовало Николая, и он «начертал»: «Прочел с удовольствием». А на подобное же сообщение полтавского губернатора выразился еще красноречивее, начертав:

«Отрадно видеть такое сознание самого народа».

Николай II не всегда восставал против народных школ. Иногда он с ними мирился.

Так, в 1896 году полтавский губернатор в своем отчете пишет, что школы вверенной ему губернии, как земские, так и церковно-приходские, по духу и характеру ничем не разнятся между собою: и в тех, и в других преподавание ведется «на одной общей основе православия и преданности царю и отечеству».

Царь подчеркивает эти слова и пишет свою сентенцию:

«В сохранении этих начал, присущих каждому русскому сердцу, зиждется залог настоящего развития у нас народных масс».

Уверенный, что он знает психику «народных масс», царь относится очень недоверчиво к рабочим. Тут он, по-видимому, не надеется на влияние церкви, а больше верит в полицию и настаивает на усилении кадров фабрично-заводской охраны.

Беспокоят Николая и будто бы крупные заработки рабочих. Против упоминания об этом екатеринославского губернатора имеет высочайшая отметка:

«Обратить на это самое серьезное внимание министра финансов».

В то же время Николай очень часто приводил в замешательство министра финансов приказаниями о выдаче крупных сумм в сотни тысяч, а иногда и миллионов из кассы государственного или дворянского банков вне устава, вне правил и вне закона

разным проходимцам и аферистам из знати и дворян. Таким же сверхзаконным путем выдавались и крупные ежегодные подачки издателю «Гражданина», князю Мещерскому, и даже его любимцам из продажных молодых людей, угождавших старому развратнику.

Когда Николаю сообщали неприятную правду, когда ему сановники и министры докладывали и предлагали то, что ему не нравилось, он никогда почти не находил доводов для возражений. Николай в таких случаях молчал или поворачивался спиной к собеседнику, глядел в окно, барабанил пальцами по стеклу. Лишь в редких случаях он обнаруживал столько находчивости, чтобы перевести разговор на другое, обыкновенно на какой-нибудь пустяк, не имевший никакого отношения к затронутому вопросу. Иногда он отделивался кратким заявлением: «Я подумаю».

Краткость ответов и резолюций Николая II не знаменовали ни силы, ни сжатости твердого решения. Эта краткость и лаконичность свидетельствовали только о краткомыслии царя, да еще об упрямстве.

А упрямство это, при внешней податливости, обуславливалось у Николая сознанием своей слабости, умственной и волевой.

Сознавая свое безволие и зная, что и другие достаточно осведомлены об этой его слабости, Николай всегда был настороже, всегда боялся, что его обойдут, подчинят своей воле. Не умея дать ни логического, ни прямого волевого отпора своим оппонентам, он замыкался в себе, отмалчивался и затем делал все наоборот, — крадучись, коварными, обходными путями, действуя опять-таки не самостоятельно, а большей частью под другими, менее прямыми, более хитрыми и менее заметными влияниями, под влияниями «темными», которым он при своем разностороннем убожестве противостоять не мог.

При своем безволии Николай очень ценил в исполнителях проявления прямолинейной, ни перед чем не останавливающейся жестокости. Всякие репрессии, карательные экспедиции, расстрелы, опустошительные приемы административного упоения неизменно вызывали краткие одобрительные и поощрительные резолюции царя.

При Николае II стали возможны такие градоправители, которые далеко оставляли за собой щедринских помпадуров из «Истории одного города». Толмачевы, Каульбарсы и даже совершенно

невозможный Думбадзе, который ходил на обывателей артиллерийским боем, сжег дом, из которого было произведено покушение, — все эти ошалелые сатрапы пользовались неизменной поддержкой и особым поощрительным покровительством царя. Всякое проявление насилия убогий и бессильный царь принимал за проявление силы и восторгался им.

И уступал Николай II только силе. Ни доводы разума, ни сознание ответственности, ни призывы совести не действовали на него. Только с перепуга, только прижатый к стене, как было в 1905 году, Николай шел на уступки с затаенным и всегда им осуществлявшимся намерением обмануть, отомстить, взять назад все уступки, как только гроза минует.

У Николая не было никакой нравственной брезгливости. Он был любопытен настолько, что воровал чужие дневники и с особым удовольствием читал доставлявшиеся ему перлюстрированные письма, от чего в свое время уклонился даже немудреный Александр III. Тут Николай не шел даже «по стопам папеньки». Николай отлично знал, как устраиваются казенным иждивением погромы, знал, что представляет собою «Союз русского народа», и принимал и поощрял не только Пуришкевича, который еще был слишком хорош для него, но даже доктора Дубровина, зная, что тот организует убийства из-за угла.

Столь чтимый царем «Союз русского народа» был организацией уголовной более, чем политической, но благодаря царю все эти воры, убийцы и погромщики пользовались уголовным иммунитетом.

Погромщиков и убийц арестовывали и судили только для видимости. Впрочем, и арестовывали только мелких сошек. К главарям ни полиция, ни юстиция не смели приступить, даже если бы они этого пожелали. Но у николаевско-щегловитовской юстиции и желания обыкновенно не бывало. Да и суд, который нужен был только для Европы, оказывался неприличной комедией. При всем пристрастии казенной юстиции к погромщикам царь неизменно пускал в ход свою державную прерогативу помилования даже по отношению к тем преступникам, которых угодливый и растленный щегловитовский суд не мог не обвинить.

И эти помилования погромщиков стали общим правилом.

И неудивительно, что даже у самых умеренных людей, которые готовы были мириться и с окончательно исподличавшимся цариз-

мом, и самой куцей конституцией, в конце концов сложилось такое настроение, что лучше ужасный конец, чем этот ужас без конца.

И в 1905 году мы видели типичных обывателей, мелких лавочников, дворников, которые в Москве снимали у себя ворота и растаскивали заборы, чтобы дать революционерам материал для баррикад.

Других царей часто ненавидели, иногда любили, чаще боялись, Николая II — презирали в России и за границей. Слово «дурак» стало в России опасно произносить, потому что без дальнейших добавлений и объяснений оно стало считаться «оскорблением Величества».

За границей в книге, напечатанной о Николае еще в 1909 году, между прочим сообщается, как факт, что когда Николаю принесли телеграфный доклад об убийстве в Москве его любимого дяди Сергея Александровича, Николай по привычке подмахнул на этом докладе:

«Прочел с удовольствием».

И таким анекдотам верили.

ГЛАВА 4

Внешняя политика

Николай II был инициатором Гаагской мирной конференции.

Среди бешеной вакханалии бесконечных вооружений, разорвавших народы Европы хуже всякого глады и мора, призыв к ограничению вооружений, исходивший от повелителя и главы армии огромной военной империи, должен был прозвучать, как первое Евангелие мира, как благая весть нового поворота в мировой истории.

Но ни для кого из европейских дипломатов не была тайной истинная подкладка возвышенной и гуманной фразеологии русского царизма.

В России шло в то время перевооружение пехоты. В Австрии в это время затеяли перевооружение и значительное усиление артиллерии. Русские военные специалисты считали состояние нашей артиллерии удовлетворительным и не уступающим артиллерийскому вооружению других европейских государств. Но затеянное Австрией усиление артиллерии нарушало равновесие, и для уравнивания шансов пришлось бы усилить значительно и нашу артиллерию, что при начавшемся уже перевооружении пехоты было бы нам не по силам в финансовом отношении.

Отсюда и возникла наивная идея Николая предложить Австрии не увеличивать своего вооружения с тем, чтобы и Россия не увеличивала своего.

Когда в возникших по этому поводу при Министерстве иностранных дел совещаниях выяснилась вся дилетантская наивность такой постановки вопроса, идея была облечена в менее конкретные, более общие формы, против которых ничего нельзя было возразить по существу, по крайней мере публично.

Кто же решился бы взять на себя ответственность за уклонение от изыскания средств для облегчения тягости войны и бремени военных расходов?

Но все это происходило через несколько месяцев после того, как Николай II, под влиянием бывшего великого князя Александра Михайловича, Куропаткина и других, захватил, под видом аренды у Китая, Квантунский полуостров. Поэтому никто миролюбиво царя не поверил, и из Гаагской мирной конференции ничего не вышло. Никакого ограничения вооружения не было установлено, а были лишь выработаны некоторые положения о приемах ведения войны, и все эти положения систематически нарушались всеми воюющими во всех последующих войнах.

Эта «аренда» Квантунского полуострова в конце концов и втянула Николая в злосчастную войну с Японией.

Как велась эта война и как она кончилась — достаточно известно.

Николай отличался совершенно исключительной способностью подбора бездарностей во всех важных случаях своего несчастного царствования. Исключением был один Витте, который, при всей своей беспринципности, был умнее, даровитее и честнее других. Но Витте достался Николаю по наследству от отца, который вначале обратил на него внимание как на автора идеи знаменитой «священной дружины», да и то Николай сумел в значительной мере его обесплодить своим собственным двоедушием и бездарностью.

Совершенно трагикомическую фигуру представлял из себя наместник на Дальнем Востоке, а затем главнокомандующий сухопутными и морскими силами, адмирал Алексеев, военачальник, который никогда не слышал ни одного боевого выстрела и ни разу не решился сесть верхом, так как панически боялся лошадей.

Когда, под давлением «общественного мнения», то есть фальсифицированных патриотических выкриков «Нового времени»,

был назначен Куропаткин, дело пошло не лучше. Этот «генерал с душою штабного писаря», похвалявшийся, «идучи на рать», заключить мир не иначе, как в Токио, все отступал «на заранее заготовленные позиции», и только нерешительность и осторожность японцев, которые сначала думали, что в этих отступлениях скрывается какой-то хитрый стратегический план, на некоторое время задержали окончательное поражение Куропаткина.

Куропаткин боялся японцев, но еще больше боялся он Николая с его дворцовой камарильей, и никогда не отваживался ни на одно твердое решение, так как все оглядывался назад и думал о том, что скажут в Петербурге.

А в Петербурге обнаруживали какую-то изумительную беззаботность. Николай II сохранял свое неизменное тупое спокойствие и, казалось, был ко всему равнодушен. Он не изменил своих привычек, так же правильно, как всегда, совершал свои прогулки, интересовался пустяками, а в самые страшные дни Мукдена и Цусимы занимался любительской фотографией, благодушеествовал в кругу семьи и делал обычные глупости своей внутренней политики.

Николай II не довольствовался той политикой, которую делали его министры. У него была и своя собственная, личная политика, не только внутренняя, но и внешняя. Цари наши вообще ведь считали внешнюю политику своей особой прерогативой, своею царской профессией.

Особенно ярко выступает эта личная внешняя политика Николая в двух случаях: в концессиях на Ялу и в тайном договоре Николая с Вильгельмом в Биорке.

Оба эти самостоятельные выступления Николая носят все характерные черты, свойственные этому царю: в них поразительная смесь глупости и нечестности. Притом эти выступления имеют все черты «темных» дел, настолько темных, что их пришлось скрывать от собственных министров, даже непосредственно и ведомственно заинтересованных.

Вековое тяготение русской политики к завоеванию моря ярко обнаружилось уже в царствование Иоанна Грозного и обуславливало все наши войны с Ливонией, со Швецией, с Турцией и с европейской коалицией. Даже война с Наполеоном в истоках своих имела выставленный Наполеоном перед Александром I соблазн раздела Турции и разрешения в интересах России ближневосточного вопроса.

Перед Россией послекрепостной, перед Россией, все больше сдвигавшейся с основ натурального хозяйства, быстро индустриализировавшейся и капитализировавшейся, вопрос о свободном море встал с еще большей остротой. Полуоткрытое Балтийское море уже давно не соответствовало огромности русского континента. Открыть Черное море так и не удалось, и политика завоевания моря устремилась в сторону меньшего сопротивления, к берегам Тихого океана.

Витте втянул Россию в Маньчжурию и Монголию хитро и остроумно, действуя не дубьем, а рублем, основав Русско-Китайский банк и проведя Восточно-Китайскую железную дорогу по соглашению с Ли-Хун-Чаном.

Весьма вероятно, что и эта тонкая дипломатия в конце концов привела бы к войне. Но личное вмешательство в эту политику Николая и толкавших его на авантюры аферистов вело к войне неизбежно и безотлагательно.

Николай, конечно, не знал и не понимал ни силы противника, ни совершенной неподготовленности «собственных» армии и флота.

Эта личная политика Николая состояла из ряда звеньев, связанных между собою.

Первым звеном было данное нехотя Вильгельму согласие Николая на занятие Германией китайского порта, на который ранее притязала Россия. Николай очень скоро понял, что тут он, не умевший никогда действовать прямо и открыто, попал в ловушку.

Самолюбие маленького человека очень страдало от сознания сделанной им глупости, в которой ему стыдно было сознаться перед своими министрами.

И Николай решил собственным умом поправить дело и как-нибудь вывернуться из нелепого положения.

Согласие, вырванное у него Вильгельмом в бытность последнего в Петергофе в 1897 году, противоречило интересам России, как их понимал Николай, противоречило смыслу русско-китайского договора, который Витте удалось заключить с Ли-Хун-Чаном в Москве во время коронации, шло вразрез, наконец, тому историческому тяготению русской политики и русской экономики к открытому морю, слепым орудием чего был и Николай.

Когда немцы захватили порт Циндау, то Россия, по смыслу московского договора с Китаем, должна была выступить с протестом

и заступиться за Китай, неприкосновенность территории которого она гарантировала. На этом и настаивал Витте. Но Николай, который поддался вымогательству Вильгельма и нарушил этим договор с Китаем, совершенно запутался и не мог придумать ничего лучшего, как в свою очередь захватить у Китая кусок территории.

В Китае сначала не могли поверить в такое коварство русского царя и смотрели на подошедшую к Ляодунскому полуострову русскую военную флотилию с десантом как на заступников от немецкого засилия, но скоро убедились, что русские союзники еще опаснее и жаднее немецких насильников.

Витте опять пришлось выручать личную политику Николая. Ему удалось через своего пекинского агента подкупить Ли-Хун-Чана за 500 тысяч руб. и еще одного влиятельного мандарина за 250 тысяч руб., и от Китая получено было согласие на сдачу России в «аренду» на 36 лет того самого Ляодунского полуострова, из которого незадолго перед тем заставили уйти японцев, занявших его после победоносной войны с Китаем. Против японцев выдвинут тогда был принцип неприкосновенности китайской территории, и Японии пришлось удовольствоваться денежной контрибуцией, для уплаты которой Витте устроил Китаю заем в Париже под русской гарантией.

В воздаяние за эту охрану целостности Китая Россия и получила право провести Сибирскую железную дорогу через китайские владения, выпрямив таким образом путь и сократив его более чем на 500 верст. Тогда же Россия получила преобладающее влияние в Корее, причем русский финансовый советник при корейском правительстве фактически являлся полномочным корейским министром финансов.

Личная политика Николая привела к тому, что Россия приобрела врагов и в лице обманутого ею Китая, и в лице обиженной Японии, кроме того, взбудоражилась Англия, и пришлось из Кореи уйти, предоставив ее в виде компенсации Японии.

Когда все последствия личной политики Николая обнаружались, царь хотел как-нибудь поправить дело, но опять-таки не прямой политикой, а свойственным ему коварным и обманчивым путем.

Николая давно уже охаживала банда аферистов, которые толкали его на агрессивную политику на Дальнем Востоке. Во главе этих аферистов шел отставной офицер Безобразов, которого

поддерживали великий князь Александр Михайлович, Абаза, Вонлярский и друг.

Безобразов не был заурядным аферистом. Это был фанатик международного мошенничества, человек пустой, глупый и неуравновешенный, полусумасшедший. Его собственная жена не могла прийти в себя от изумления, когда убедилась, что ее нелепый Саша, к которому никто никогда серьезно не относился, играет выдающуюся роль при дворе, и царь находится явно под его влиянием.

Решили, уступив формально влияние в Корею Японии, обойти эту уступку обманным путем. Перекупили у одного владивостокского купца его лесную концессию на р. Ялу, на пространстве 5000 кв верст, и под предлогом эксплуатации этих лесов собирались ввести в Корею 200 тысяч солдат, переодетых лесными рабочими.

Целых пять лет охаживал Безобразов Николая, но на аферу нужны были деньги, под официальным флагом ее вести нельзя было, а Николай, хотя и считался «хозяином» этой затеи, из личной шкатулки раскошелиться не любил.

Министры же — и министр финансов Витте, и иностранных дел Ламсдорф — хотя и не смели прямо идти против личной политики царя, все же всячески саботировали эту политику.

Пришлось Николаю дать небольшую сумму (75 т. р.) из кабинетских сумм, а так как лично Николаю все-таки неудобно было стать участником аферы, то его заместил министр двора Фредерикс, человек, по характеристике Витте, рыцарски благородный, но необыкновенно, почти сверхъестественно глупый, который не только ни в какой политике разобраться был органически неспособен, но даже в хозяйственных делах своего Министерства двора ничего сообразить не мог.

Безобразов всячески и очень грубо льстил Николаю, действовал на его истинно русские чувства, противопоставлял его личную политику «польско-жидовской» политике Витте, и в конце концов удалось-таки раздобыть на эту аферу казенные миллионы, которые, конечно, быстро и бесследно растаяли.

Япония всю эту аферу быстро разгадала, стала требовать объяснений. Ей ответили уклончиво, лукаво и пренебрежительно, а главное — явно лживо и необедительно.

И кончилась эта личная политика Николая великим и позорным крахом, с неприличным военачальником Алексеевым,

бездарным Куропаткиным, который повез за собой на войну целый вагон икон, позорным Стесселем, Мукденом и Цусимой.

Во время Русско-японской войны Германия сохранила нейтралитет, то есть не воспользовалась затруднениями России и не совершила на нее разбойного нападения.

За это она потребовала уплаты. И России пришлось заключить с Германией торговый договор, очень выгодный для Германии и соответственно разорительный для России.

ГЛАВА 5 Перед «конституцией»

Внешняя политика всегда считалась при царизме высокой или «высочайшей» политикой, царственным делом и самым достойным царским занятием. Наряду с этим военное дело, армия и флот состояли под прямым верховным руководством царя и считались привилегией высшего командующего класса, т. е. дворянства. Народ, преимущественно крестьянство, доставлял для армии и флота только основной материал, то есть «пушечное мясо» и, само собою, все материальные средства для содержания, снаряжения и вооружения армии и флота... Но все командование было свое, царско-дворянское, и никакое вмешательство со стороны, никакой контроль не смел касаться этой заповедной области.

Когда в этой области получил конфуз Николай I, он умер с досады и горя, может быть, даже отравился, и сыну его пришлось спасать положение и замазывать дело реформами и полуреформами.

Но тогда Россия имела дело с европейской коалицией, а тут безмерно осрамилась в войне с какими-то японцами, которые с европейцами никогда и не воевали и которых Николай II иначе и не называл, как «макаками» и «япошками».

Впрочем, Японская война была и мерой политики внутренней.

Плеве, своим изощренным полицейским нюхом чувший нарастающее в стране недовольство, находил, что для отвлечения нужна «маленькая победоносная война», и всячески провоцировал военную клику.

Но Николай II был лишен и сознания ответственности, и чувства стыда. Он сам и после уроков Японской войны неспособен был сообразить, чего стоит его правление, его правительство и вся система самодержавного царизма.

Нужно было внушение со стороны, и это внушение явилось в виде общественного движения 1904 года, всеобщей забастовки и революционных вспышек 1905 года.

Пришлось Николаю мириться с «бессмысленными мечтаниями», выслушивать требования и идти им навстречу.

Витте в своих воспоминаниях настойчиво выгораживает себя от активного и инициативного участия в составлении манифеста 17 октября и вообще от авторства злосчастной русской конституции. И в этом случае ему можно верить.

«Конституция» была результатом перепуга самого Николая и таких близких к нему лиц, как Трепов или Николай Николаевич. Витте же был неизменным приверженцем неограниченного самодержавия и поклонником такого царя, как Александр III.

Витте, как умный человек, конечно, отлично знал и скудость образования Александра III, и ограниченность его ума, но очень высоко ценил его прямоту и волю.

У Николая II не было ни образования, ни ума, ни прямоты, ни воли, но и при нем Витте остается приверженцем самодержавия. И не потому, что это было у него в крови — Витте неоднократно подчеркивал свое дворянское происхождение, — а потому, что самовластный и решительный характер Витте черпал в обессиленном по существу самодержавии возможности для проявления своей воли. *Ist der König absolut, wenn er unsern Willen thut.* Самодержавная царская воля нравилась Витте постольку, поскольку она давала Витте возможность осуществлять свои волевые импульсы.

Ни Александр III, ни Николай II ни в вопросах государственного хозяйства, ни в железнодорожном деле, ни в финансах ничего не понимали. Они видели, что у Витте нет дефицитов и что всегда имеются деньги, и они не мешали ему вести свою политику.

Питейная государственная монополия нарушала очень много частных интересов, и только опираясь на неограниченное царское самодержавие, Витте мог провести эту монополию.

Золотое обращение, связанное с объявлением частичного государственного банкротства, нарушало интересы помещного дворянства, так как низкий курс нашего бумажного рубля облегчал экспорт сельскохозяйственных продуктов за границу. Кроме того, самые приемы и условия введения золотого обращения вызывали сомнения экономистов, более образованных, чем Витте, что и выразилось в горячих прениях Вольного экономического общества.

Но Витте имел за себя самодержавную власть царя, который в вопросах финансовых вполне доверял своему министру, и реформа огромного экономического значения была проведена, не считаясь не только с общественным мнением страны и с мнениями авторитетных русских и европейских экономистов, но даже помимо Государственного совета, совершенно вне обычного законодательного порядка.

Конечно, такую политику Витте мог вести, только опираясь на самодержавную царскую власть.

Витте также отлично понимал, что мечты Николая и придворной камарильи о привлечении выборных и вообще о совещательной Думе являются воистину «бессмысленными мечтаниями» и что все это должно кончиться конституцией, а затем парламентаризмом, что ему, по его темпераменту и характеру, ни мало не улыбалось.

А Николай, по присущему ему недомыслию, воображал, что ему удастся всех обмануть и сочетать конституцию с самодержавием.

На знаменитых петергофских совещаниях, в июле 1905 года, под личным председательством Николая, особо приглашенные лица, преимущественно из высших сановников империи, обсуждали проект булыгинской законосовещательной Думы.

Тогда они еще считали себя хозяевами положения, причем «либеральное» крыло совещания настойчиво убеждало Николая в том, что в проекте комитета министров об осуществлении «предначертаний» Николая, изложенных в рескрипте министру внутренних дел 18 февраля 1905 года, нет никаких изменений основных законов, утверждающих незыблемость самодержавия, а крыло откровенно реакционное настаивало на том, что ограничение самодержавия имеется, а если уж идти на это, то надо по крайней мере сделать Думу не только строго совещательной, но и сугубо дворянской, не допуская в нее по возможности городского населения, а из крестьян допустить преимущественно волостных старшин, избранных под опекой дворян. О рабочих даже не упоминалось. Как далеко шел «либерализм» левого крыла, можно судить по тому, что его поддерживали почти все министры, великие князья (особенно резко Владимир Александрович) и генерал Трепов.

Вообще здесь оказалось немало монархистов, настроенных более монархически, чем сам монарх. И надо сказать правду, что председательствовавший на совещаниях Николай II здесь,

в этой «избранной» среде, оказался даже умнее и толковее многих.

Такова была среда.

В самом конце Николай по обыкновению попробовал слукавить.

— Я останавливался на самом названии Думы, — сказал Николай. — Я думал, не лучше ли назвать Думу «Государевою»?

Но Сольский возразил:

— Это название не вполне отвечало бы назначению и характеру Думы как государственного законосовещательного органа. Правильнее именовать ее Государственной, в соответствии другому подобному органу — Государственному совету.

Николай не настаивал.

Когда шла речь о форме присяги членов Думы, отмечено было, что в присяге этой не упоминается о самодержавии.

«Либералы» доказывали, что в этом нет надобности, так как самодержавию присягают в общей присяге, поэтому в специальной присяге членов Государственного совета тоже не упоминается о самодержавии.

Наконец, Герард сделал предложение:

— Если уж признается необходимость оговорить о сохранении незыблемым самодержавия, то удобнее сказать об этом в манифесте, а не в проекте. Для достижения преследуемой цели — это все равно.

Но Николай на это не поддался и тут же возразил:

— Нет, не все равно: манифест читается и забудется, а закон о Думе будет действовать постоянно.

Протоколы петергофских совещаний свидетельствуют, что, идя на уступки и собираясь созвать Думу, Николай прежде всего стремился к сохранению незыблемости царского самодержавия, причем подчеркивал, что законосовещательная работа Думы, «сила мнения», решительно ни к чему его обязывать не может.

Когда, через несколько месяцев после петергофских совещаний, те рабочие, о которых даже не упоминалось и на которых так просчитались, остановили весь механизм государственной жизни и с перепугу пришлось вместо законосовещательной Думы обещать Думу законодательную, Николай все еще не терял надежды, что ему по существу удастся сохранить незыблемость своего самодержавия.

Николаю II едва ли было знакомо известное рассуждение Лассаля «О сущности конституции», но он и без того отлично

понимал, что эта сущность определяется не провокационной бумагой, подписанной им 17 октября 1905 года, а тем военно-полицейским аппаратом, который по старому оставался в его руках. Бумажная же конституция нужна была прежде всего потому, что под нее только и можно было заключить за границей новый заем. Самодержавие уже там потеряло кредит.

В самой же России самодержавие потеряло последний кредит 9 января 1905 года. До того еще удавались эксперименты полицейского социализма, и зубатовщина могла привлекать значительные группы рабочих, которые готовы были верить, что царь может защищать рабочих от хищничества капитала.

Рабочие Петрограда, увлеченные Гапоном, еще верили, что если они прямо обратятся к царю с просьбой о защите, то они ее получают. Николаю здесь представлялся случай увенчать зубатовщину, привлечь к себе рабочих и оттянуть революцию на столько времени, на сколько удалось бы поддерживать обман. Но Николай и не посмел, и не сумел этого сделать. Он спрятался в Царском Селе, а рабочие, устроившие крестный ход с иконами и царскими портретами, были встречены залпами.

Таким образом сразу отрезвились и те отсталые рабочие, которые еще поддавались на зубатовщину и ждали чего-то от царя.

9 января вследствие трусости и недомыслия Николая II ставка царизма была безнадежно проиграна. Кровь слишком доверчивых рабочих, стариков, женщин и детей захлестнула царскую легенду.

ГЛАВА 6

Голый царь и Марк Твен

День 9 января морально погубил царизм не только в России.

Марк Твен напечатал после этого замечательно остроумный монолог, который он вложил в уста Николая II.

В этой своей сатире Марк Твен, который никогда не был революционером и был любимцем самой буржуазной публики, очень убедительно доказывает моральную допустимость царевубийства и, в художественной прозорливости своей, пророчески предрекает грядущую судьбу Николая и дома Романовых.

В основу своего очерка американский юморист положил идею знаменитой книги Карлейля «Sartor resartus». В книге этой Карлейль, как известно, в чрезвычайно оригинальной юмористической

форме излагает, устами профессора Тейфельсдрека, «философию одежды».

Из этой-то философии исходит Марк Твэн, воспользовавшись для эпиграфа заметкой из лондонского «Times»:

«После утренней ванны царь имеет обыкновение, прежде чем приступить к одеванию, посвящать час размышлениям.

(Рассматривая себя в зеркало.)

— Голый, что представляю я из себя? Тощий, невзрачный, с длинными, паукообразными ногами, я — пасквиль на образ и подобие божие! Голова, точно слепленная из воска, желтое лицо, в котором столько же выразительности, сколько в любой дыне, — уши торчком, угловатые локти, плоская грудь, ребра наперечет... Во всем этом — надо сознаться — нет решительно ничего императорского, ничего величественного, ничего, внушающего страх и благоговение. И перед таким-то произведением природы склоняется в прах сто сорок миллионов русского народа?! Немыслимо!

Кто может преклоняться перед этой жалкой фигурой, которая и есть моя особа? Перед кем же или перед чем они преклоняются? Говоря по секрету, никто лучше меня не знает, в чем разгадка: они молятся на мое платье.

Без одежды я настолько же лишен авторитета, как и любой голый человек. Никто не отличил бы меня от какого-нибудь попа или цырульника. Но тогда кто же является фактическим императором всея Руси? Мой мундир с панталонами. Больше ничего.

Тейфельсдрек сказал: «Что было бы с человеком — с каким угодно человеком, — не будь у него одежды»? Стоит мне только задуматься над этим вопросом — и мне делается ясно, что без платья человек был бы ничем. Костюм не только дополняет человека, костюм есть весь человек; лишенный костюма, он нуль.

Чины и титулы — другая фабрикация, и тоже составляют часть костюма. Титулы и мануфактурные товары скрывают ничтожество их обладателя; он кажется великим, непостижимым, тогда как в сущности в нем нет никакого содержания. Это они заставляют целую нацию склонить колена и искренне боготворить царя, который без своей царской мантии и титула упал бы до уровня последнего из своих подданных и потерялся бы навсегда в массе заурядных людей, которым цена грош. Раздетый царь в мире неодетых людей, быть может, не привлек бы ничьего внимания и, получив свою долю толчков и побоев, подобно всякому иному

непатентованному смертному, пожалуй, принялся бы служить человечеству, таская за гривенники чужие саквояжи. Но этот же самый человек, благодаря своей царской мантии и царскому титулу, и только благодаря им, боготворим своими подданными. Он может по прихоти и безнаказанно ссылать, преследовать и травить их, как он травил бы крыс, если бы случайность рождения определила ему профессию, гораздо более подходящую к его врожденным способностям, чем ремесло императора.

Что за громадная, всепокоряющая сила заключается в том, что на человеке одето, и в его титуле! Они наполняют зрителя благоговением, повергают его в трепет, и все это вопреки тому, что узурпаторское происхождение нашей императорской власти ему отлично известно: ведь он прекрасно знает, что власть каждого царя есть власть, незаконно приобретенная и незаконно уступленная или возложенная людьми, которым она никогда не принадлежала. Ибо монархи, если и избирались когда-либо, то лишь аристократиями, народом же — никогда.

Нет власти без мундира или парадной формы. Они правят человечеством. Отнимите то и другое у властей предрержащих — и ни одной страной нельзя будет управлять: голые начальники были бы лишены всякого авторитета. Они казались бы (и были бы на самом деле) заурядными людьми, субъектами без всякого значения. Полицейский в штатском платье — не более, как одно человеческое существо; но то же существо в мундире — целых десять человек. Одежда и титул — вот самая солидная и влиятельная власть на земле; они внушают человечеству добровольное и искреннее уважение к судье, к генералу, адмиралу, к митрополиту, к посланнику, к глупому графчику, к идиоту герцогу, к султану, королю, императору. Никакой титул не действителен без соответственного костюма, созданного для его поддержки.

Даже среди голых дикарей голый король носит какую-нибудь тряпку или украшение, которое он объявляет священным и не позволяет носить никому другому.

(Помолчав.)

Странная, непостижимая выдумка — человечество!

Кишащие миллионы русских людей позволяли нашему семейству грабить их, топтать ногами, и жили, и умирали с единственной целью и обязанностью служить этому семейству и его удобствам. Этот народ — лошадиный народ. Да, конечно, это

нация лошадей, носящих одежду и исповедующих православие. Лошадь, обладай она силой даже десяти человек, позволяет одному человеку бить ее, морить голодом, помыкать ею. Миллионы же русских людей позволяют горсти солдат держать их в рабстве — а солдаты-то их родные сыновья и братья!

Еще одна вещь — поистине смешная, если хорошенько подумать о ней: весь свет преспокойно применяет к царю и царизму те же ходячие правила нравственности, которые приняты в цивилизованных странах. На том только основании, что в свободном государстве нельзя устранять злодеев иначе, как по суду, на основании закона, считается, что это же правило применимо и к России, где нет покровительства законов, кроме как для нашего дома. Законы — это известные ограничения свободы действия; в цивилизованных странах они ограничивают свободу всех и в одинаковой мере для всех, что совершенно правильно. Но в России и те законы, какие существуют, всегда допускают одно исключение: наш царский дом. Мы поступаем по своему усмотрению, мы поступали так в течение столетий. Нашим ремеслом было преступление, нашей обычной пищей — кровь, кровь народа. На наших головах тяготеют миллионы убийств. И все-таки благочестивый моралист говорит, что убивать нашего брата — преступление.

Не мне говорить это (по крайней мере, вслух), но по секрету как не сказать, что это очень наивно и забавно. Даже нелогично: императорская фамилия стоит выше закона: нет закона, который настиг бы ее, удержал ее и защитил от нее народ. Следовательно, мы вне закона. А людей, стоящих вне закона, может безнаказанно убить всякий.

Ах, что бы мы делали без моралистов?! Моралист всегда был нашей опорой, нашим защитником и другом; в настоящее время он наш единственный друг. Каждый раз, как начинался или начинается разговор о нашей казни, — моралист уж тут со своими глубокомысленными изречениями: “Стой! не было еще примера, чтоб насилием было достигнуто что-либо, имеющее политическую ценность”. Надо думать, что моралист искренно верит в истинность этого изречения. Понятно: у него нет под рукой учебника истории, откуда он увидел бы, что его излюбленное изречение не поддерживается статистическими данными.

Все троны были воздвигнуты с помощью насилия, с другой стороны только насилием удавалось сбросить тиранию. Насилием

мои предки утвердили наш престол, убийствами, изменой, пытками, ссылкой и тюрьмами они удержали его четыре столетия в своих руках*, и теми же средствами удерживаю его я. Ни один опытный “Романов” не откажется перевернуть изречение и сказать: “Только насилием можно чего-либо достигнуть”. Моралист понимает, что с начала нашей истории наш трон в первый раз теперь в серьезной опасности; но он не понимает, что причиной такого положения вещей — четыре насильственных поступка: убийство финляндской конституции моей рукой, убийство революционерами Бобрикова и Плеве и моя бойня безобидных рабочих в тот день. За то кровь, текущая в моих жилах, воспитанная наследственно, по традиции чуткая к убийствам, прошедшая многовековую школу в жилах профессиональных палачей, моих предков, — эта кровь понимает и чувствует то, что от моралиста закрыто. Эти четыре убийства пробудили жизнь в неподвижной и темной глубине народного сердца, больше, чем то могли сделать какие угодно моральные доводы; эти четыре дела разбудили ненависть и надежды в давно застывшем народном сердце; и тихо, тихо, но неотвратимо эти чувства заползут в каждую грудь и завладеют ею. Со временем даже в душу солдата... страшный день... роковой день!.. Да, что-то будет! Как мало знает моралист-резонер о нравственной силе убийств!.. Да, последствия будут! Россия напряжена, и скоро родится нечто могучее — патриотизм! Говоря простым, грубым и грозным языком — настоящий патриотизм; любовь не к царскому дому, не к народному вымыслу, а любовь к самому народу и верность ему.

В России двадцать пять миллионов семей, у каждой матери растет ребенок, и если эти двадцать пять миллионов матерей любят свою родину, то они будут каждый раз повторять своим сыновьям: “Помни одно, прими это к сердцу, живи и умри за это, если нужно: наш патриотизм прошлых времен изношен и гнил; есть другой патриотизм, есть настоящая любовь к родине: этот патриотизм означает верность родине всегда, через все испытания, и верность правительству лишь до тех пор, пока он того заслуживает”. Когда вырастут эти двадцать пять миллионов истых патриотов — патриотов так взрожденных и воспитанных, — то мой наследник не посмеет стрелять в толпу беззащитных

* Марк Твен здесь и дальше ошибочно говорит «четыре столетия» вместо «три».

просителей, униженно молящих его о справедливости... как я сделал в тот день.

(Пауза.)

...Да, это картина! Это существо в зеркале — это жалкое существо — является признанным божеством великой нации, людей без счета — и никто не смеется! И никто не удивляется, не находит в этом ничего бессмысленного! Не глупая ли шутка вообще все человечество? Не было ли оно выдуманно как попало, в тоскливый час, от нечего делать? Есть ли в нем хоть капля уважения к себе? Не уважаю и я его — да и себя заодно. Есть только одно спасение — мои царские одежды; мундир и мантия, воскрешающие уважение к самому себе, поднимающие дух! Лучший дар неба человеку и единственная защита против познания самого себя. Обманывая человека, платье возвращает ему сознание собственного достоинства. Боже мой, как сострадательно платье, как оно благодетельно, как могущественно, как неоцененно! Что до моего собственного, то оно превращает человеческий нуль в величину, бросающую свою тень на половину земного шара. Оно возвращает мне уважение всего мира — и мое собственное, — увы, поколебавшееся...

Надеть его поскорее!..»

В этом монологе, написанном в 1905 г. до провокаторской конституции, до столыпинщины и военно-полевой юстиции, до Распутина и министерской чехарды, суть, конечно, не в том, что голый Николай видит свою физическую плюгавость, которая наводит его на слишком умные для него размышления.

Дело в общей плюгавости этого «голового царя», плюгавости умственной, моральной, волевой, соответствовавшей плюгавости всего изжившего себя царизма...

Николай мог быть сложен, как Аполлон, царизм мог поражать своим блеском и великолепием, но культурно и социально он был обречен.

ГЛАВА 7 «Конституция»

Вначале Николай II, по-видимому, искренне думал, что можно и при Думе править так, как будто бы ничего не случилось и никакой конституции нет.

И не было около него никого, кто мог бы разубедить его в этом.

Витте должен был уйти и был в опале. Притом Витте и сам ведь был врагом конституции. Впрочем Витте был жертвой того самого царизма, которому он так ревностно служил и перед идеей которого преклонялся. Не потому, конечно, был он жертвой, что Николай ненавидел его, при первой возможности прогнал его и откровенно обрадовался, когда Витте умер.

Бывший французский посол Палеолог в своих мемуарах изображает настроение Николая.

В ставке в царском вагоне за завтраком Николай был очень весел:

«Затем внезапно, — рассказывает Палеолог, — с блеском иронической радости в глазах:

— А этот бедный граф Витте, о котором мы не говорили. Надеюсь, мой дорогой посол, что вы не были слишком опечалены его исчезновением?

— Конечно, нет, государь!.. И когда я сообщал об его смерти моему правительству, я заключил краткое надгробное слово в следующей простой фразе: большой очаг интриг погас вместе с ним.

— Но это как раз моя мысль, которую вы тут передали... Слушайте, господа...

Он повторяет два раза мою формулу. Наконец, серьезнейшим тоном, с авторитетнейшим видом, он произносит:

— Смерть графа Витте была для меня глубоким облегчением. Я увидел в ней также знак Божий».

Так благочестиво отнесся Николай к смерти своего единственного делового министра и самого честного своего слуги, который во всю первую половину его царствования посильно исправлял грехи его собственной глупой и бездарной политики.

Но не в этом, конечно, не в царской опале была трагедия Витте.

Витте, хотя и подчеркивает в своих воспоминаниях свое дворянское происхождение и наследственный монархизм, не имел ничего общего с типичными дворянами, с знатью, «толпою жадною стоящею у трона».

Витте был типичным разночинцем, умным, даровитым, на редкость энергичным и трудоспособным и... достаточно беспринципным.

В нем решительно ничего не было от маркиза Позы, но было нечто от Годунова и от Бисмарка.

Но с Витте произошло некое скверное чудо. Он был, конечно, несравненно умнее, образованнее и даровитее Александра III, а с Николаем II его и сравнивать нельзя ни по уму, ни по смелости и решительности характера, ни по силе незаурядной воли.

Однако вышло как-то так, что Витте не только не оказал заметного влияния на политику Александра III, тупость и нелепость которой он отлично видел, но даже на невзрачного во всех смыслах, на недалекого, безвольного и трусливого Николая II он не мог повлиять настолько, чтобы подчинить его своей воле.

Не Николай II поумнел от многолетнего общения с Витте, а Витте как будто поглупел и обмяк в долгом общении с Николаем II.

Витте, естественно, импонировал Николаю своею смелостью, решительностью, огромной самоуверенностью, но такие решительные, однако тупые и ограниченные люди, как Трепов или Столыпин, легче подчиняли себе Николая, чем несравненно более умный, даровитый и самостоятельный Витте.

Витте был яркая, крупная личность, Николай был сереньким, заурядным ничтожеством, и все же это ничтожество свело Витте на нет, превратив и его в лукавого царедворца, который вынужден был плясать по дудке Трепова и Дурново. Воистину, тощая корова проглотила сильную и упитанную, пустой тощий колос поглотил полный.

Или, как говорит Гамлет: «Красота скорее превратит добродетель в распутство, чем добродетель сделает красоту себе подобною».

Витте хитрил и лукавил, с одной стороны, с царем, с другой — с общественностью, и добился только того, что ему никто не верил ни с какой стороны.

Казалось бы, что в конце концов он достаточно снизился до уровня Николая II, до Трепова и Дурново, но Николаю и этого было мало — и он отделался от Витте.

С конституцией, даже с самой куцей, Николай никогда не мог примириться, самодержавно править он совершенно не умел, не сумел бы и тогда, если б время и обстоятельства позволяли.

Русские цари не имели привычки уходить своевременно и добровольно. Только смерть, насильственная или естественная, избавляла от них страну. Уход Александра I — легенда, самоубийство Николая I — не установлено. И после преступной личной политики и позора Японской войны Николай II все еще не понимал, что он стал невозможен. Самодержавие уже не имело никакой опоры.

Бюрократия давно уже выросла в такую силу, с которой не могли совладать ни Николай I, ни Александр III. Царское самодержавие давно расплылось на десятки тысяч маленьких чиновничьих самодержавий. Ничего творческого, полезного царизм, ограниченный механизмом бюрократии, совершить не мог, даже при самых лучших желаниях.

Как ни плоха была бюрократия, подвергавшаяся многолетнему отрицательному отбору, она все же вносила в управление хоть какой-то формальный порядок, хоть какую-нибудь систему. Личная политика царя нарушала и этот порядок. За монархом осталась единственная прерогатива — вносить путаницу в дело управления, нарушать ими же установленные законы и втравливать страну в опасные авантюры, на которые обыкновенно толкала царя жадная и глупая дворцовая камарилья.

«Высота трона» превратилась в низину, в которую стекались самые грязные вожделения, самые бесстыдные домогательства, все, что было самого бессовестного, гнусного и подлого в стране.

Это особенно ярко сказалось при «конституции».

Если цари не отрекались от престола и не уходили, как бы им ни случалось срамиться, то этим заражались и министры, и все сановники. Не был исключением даже такой выдающийся министр, как Витте. И он дождался того, что его «ушли», а о других и говорить нечего.

Некоторые досиживались до того, что разваливались на своих постах, но все же досиживали либо до смерти естественной или насильственной, либо до тех пор, пока их выгоняли.

Цеплялись за власть до последней возможности и даже до невозможности.

Цари более яркой индивидуальности — все три Александра, и Николай I — более или менее щадили человеческое достоинство своих сановников, и даже тогда, когда они их мало уважали и не любили, — терпели их.

Николай II не уважал ни себя, ни своих сановников. При нем ни один министр не был уверен после самого милостивого приема царя, что его отставка уже не подписана или что он не прочтет о ней завтра утром в газете.

К народному представительству Николай относился как к лишней и неудобной новой казенной канцелярии. Притом он никогда не мог забыть, что Дума была у него «вырвана». Он с трудом мирился с Думой даже тогда, когда она ничем

не посягала на его самодержавие. Но если б и при Думе все шло так, как будто ничего не случилось и ничего не изменилось, а Дума являлась бы только новым учреждением, которое время от времени устраивает патриотические или монархические демонстрации, тогда еще куда ни шло. При таких условиях он ничего не имел бы и против того, чтобы в Думе порою поругивали его министров.

Он сам любил ставить своих министров в затруднительные и нелепые положения, и, как бы они перед ним ни усердствовали, Николай радовался, когда их постигали неприятности, радовался даже, когда они умирали или когда их убивали. Так обрадовался он смерти Витте, был доволен, когда убили Плеве, еще более радовался, когда убили Столыпина. Даже к Трепову Николай стал в конце так относиться, что только неожиданная смерть избавила Трепова от опалы и неприятностей. Лживости и коварства Николая не выдержало даже сердце «вахмистра по воспитанию и погромщика по убеждениям».

«Я его не предаю, он меня — наверно» — в этой формуле выражалось мнение самых преданных министров о Николае II.

Чего же могло ждать от царя народное представительство?

Первую Думу он распустил, «как тать в нощи». Для разгона второй Думы была пущена в ход самая беззастенчивая провокация.

Нарушив недавно возведенную «непреклонную царскую волю» и совершив выборное шулерство после того, как ставка на «консервативного мужичка» была бита, Николай вступил в новую полосу своей политики, в полосу столыпинщины.

Типичный провинциальный губернатор, очень плохо справлявшийся с «вверенной ему губернией», оказался ярким светилом в том болоте бездарностей, нечистоплотности и бесчестности, в котором копошился Николай.

Столыпин сейчас же нашел в 3-й Думе целую партию лакеев-октябристов. Но так как эта партия «пропавшей грамоты» носила одиозное название партии 17 октября, то ее Столыпин отдал в услужение партии еще более лакейской — партии националистов.

Неудачный саратовский губернатор, став губернатором все-российским, оказался смелым и находчивым оратором, чем он импонировал Думе, а на царя, невзрачного и робкого по натуре, Столыпин действовал своим большим ростом, громким голосом и самоуверенностью.

Такими же внешними данными действовали на Николая и огромный, резкий и самоуверенный Витте, и бравый генерал Трепов и, тоже огромный, тупой, дядя царский, Сергей Александрович.

К ставке на хозяйственного мужика, которая так позорно была бита при выборах в первые две Думы, Столыпин подошел с другой стороны. «Смычку с крестьянством» он надеялся устроить, освободив сильных крестьян, т. е. главным образом деревенских кулаков, от общины, от власти крестьянского мира, и соблазнив их хуторским хозяйством.

Николай, по-видимому, тоже увлекся мечтой о создании сельской буржуазии как новой опоры трона. Конечно, все это было не ново, и задолго до Николая II и до Столыпина Щедрин уже характеризовал Дерунова, Колупаева и Разуваева как столпов отечества и опоры трона.

— Чумазый идет! — возвещал Щедрин, и этого чумазого пытались сделать опорой новой государственности, сумбурно оставаясь в то же время на почве дворянского феодализма.

Но ни у Николая, ни у Столыпина литературных воспоминаний, конечно, не было, и сатиру Щедрина они готовы были совершенно серьезно воплощать как новую государственную программу «ставки на сильных».

Увлекался вначале Николай и тем, что Столыпин говорил о «великой России» и выдвигал на первое место русский, т. е. собственно великорусский национализм.

Идеологически обосновать этот национализм Столыпин, конечно, самостоятельно не мог, но свою образованность в этом направлении он черпал из сокровищницы знаний Ильи Яковлевича Гурлянда.

Гурлянд — тоже одна из характерных фигур царствования Николая II.

Еврей по происхождению, юрист по образованию, он стал приват-доцентом Ярославского юридического лицея и там сумел снискать доверие бывшего в Ярославле губернатором Штюмера.

Человек неглупый и небездарный, Гурлянд, сын какого-то южного раввина, вздумал стать русским Фридрихом Шталем.

Но в то время, как знаменитый теоретик прусской реакции, будучи, как и Гурлянд, евреем по происхождению, стал членом аристократической прусской палаты господ и до самой смерти (1861) оставался признанным главой юнкерской феодально-

аристократической партии, Гурлянд, в условиях русской жизни и через полвека после Штала, вынужден был ютиться за кулисами большой политики и оттуда, из каких-то темных задворков нашей государственности, из редакции казенной и рептильной печати, из министерской канцелярии, тайком, из-под полы, снабжать министров идеологией истинно русского национализма.

В противоположность Шталю Гурлянд, проведя многие годы своей своеобразной государственной деятельности в темной и пыльной суфлерской будке и подавая оттуда шепотом истинно русские националистические реплики министрам, громко выкрикивавшим их, как Столыпин, с подмостков Государственной думы, не оставил никаких известных литературных памятников этой своей деятельности.

Столыпин умер от руки одного из тех охранников, которые перед охранкой выслуживались выдачей революционеров, а перед революционерами — организацией убийств сановников.

Впрочем, накануне своей физической смерти Столыпин, убитый на глазах Николая, был уже политическим мертвецом, так как для Николая и он был личностью слишком яркой, и тот уже решил отделаться от него.

ГЛАВА 8

Витте, Трепов, Столыпин

Витте был уволен за несколько дней до открытия заседания первой Государственной думы, и народным представителям, впервые собравшимся на Руси, пришлось встретиться с правительством, которое возглавлял старый и неисправимый бюрократ Горемыкин и украшали такие фигуры, как Щегловитов, Стишинский, Шванебах.

Это, по крайней мере, было откровенно. Витте еще мечтал о коалиционном министерстве, в котором общественные деятели сидели бы рядом с бюрократами и даже с таким субъектом, как Петр Дурново. Но никакие общественные деятели, даже из самых умеренных, не согласились «сесть за стол нечестивых», и Николай бесцеремонно прогнал председателя Совета министров, не сумевшего обмануть общественное мнение.

В новом и первом «конституционном» кабинете воссияла звезда Столыпина в качестве министра внутренних дел.

Николай очень скоро, чуть ли не с первого заседания, разочаровался в первой Думе. Она совершенно не оправдала его ожиданий, так как готова была принимать всерьез свою роль народного представительства, а не служить только новым украшением самодержавия в либеральном стиле.

Дума не признавала Горемыкина, а Горемыкин не признавал Думы. Через три месяца с небольшим Горемыкин добился у царя указа о роспуске Думы, но при этом Николай устроил главе своего правительства один из своих обычных сюрпризов. Удовлетворив домогательства Горемыкина о роспуске ненавистной Думы, Николай тут же преподнес ему отставку.

«Мавр сделал свое дело, мавр может уйти».

Место Горемыкина занял Столыпин, человек, во всяком случае, гораздо более яркий и даровитый.

Столыпин тоже стал мечтать о коалиционном министерстве. Но то, что не удалось Витте, не удалось и Столыпину, и все окончилось безрезультатными переговорами.

К этому времени относится чрезвычайно характерный для политики Николая эпизод.

В то время, когда Столыпин с большой опаской и оглядкой вел переговоры с самыми умеренными из общественных деятелей о том, чтобы те согласились хоть частично скрасить своим участием бюрократический кабинет министров, дворцовый комендант Трепов, самое в то время доверенное лицо Николая, повел тайные переговоры с крамольными кадетами (после выборгского воззвания) и предлагал им ни более ни менее как образование чисто кадетского министерства.

Эта темная и загадочная комбинация долго оставалась тайной для всех, кроме ее участников, а когда Столыпин узнал о ней, то, естественно, пришел в ужас.

Трепов, конечно, действовал в полном согласии с царем, да и не посмел бы иначе пускаться в такие рискованные эксперименты. Между тем было слишком известно, что Трепов, как и Николай, органически никакой конституции и ничего конституционного не приемлют, ставя принцип неограниченного самодержавия превыше всего.

В чем же была тайна этих неожиданных заигрываний с кадетами после разгона Думы и после выборгского воззвания?

Тайна оказалась весьма простой и для Трепова даже слишком остроумной.

Николай и Трепов, не зная, как отделаться от неприятных последствий перепуга 17 октября, задумали грандиозную провокацию.

Образовать кадетский кабинет. Он, конечно, поведет политику в стиле требований первой Думы. Царь и Государственный совет, конечно, на это не пойдут, левые, со своей стороны, потребуют большего, возникнет острый конфликт, и с помощью треповской формулы «патронов не жалеть» можно будет сразу покончить с кадетами и с конституцией.

Так толкует эту затею очевидец и участник событий бывший министр Извольский, в общем дипломатически мягкий и благосклонный к Николаю в своих мемуарах, изданных в Париже.

Затея вполне в стиле политики Николая II.

Авантюра, конечно, опасная, но Трепов опасности не боялся, ибо был человек бесстрашный и решительный, а Николай таким легко поддавался.

Содержало же правительство на казенный счет Азефа, который, для «пользы службы», организовал убийство Плеве, убийство Сергея Александровича и не прочь был от организации покушений на Николая.

Такое уж это дело — провокация, — что приходится рисковать и идти на опасности.

Когда о тайных махинациях внезапного треповского конституционализма узнал Столыпин, он вступил в отчаянную борьбу с Треповым.

Столыпин был ярче, умнее и даровитее Трепова, и решительности было у него достаточно. Николай уступил. Трепов попал в опалу и впал в мрачную меланхолию.

Николай не простил Трепову этого поражения, так как у Трепова, конечно, своей собственной политики, как и своих собственных мнений, не могло быть, и поражение его было собственно поражением личной политики Николая. Николай, несмотря на всю безоглядную преданность ему Трепова и на все его заслуги перед ним, сразу повернулся к нему спиной. Ни этой неблагодарности, ни этой немилости Трепов перенести не мог, и он скончался после этого так скоро и так неожиданно, что его смерть даже сочли неестественной; но, по-видимому, Трепов умер от разрыва сердца.

Не простил Николай и Столыпину его победы, но пока что затаил враждебное к нему чувство, проявив его впоследствии.

После опалы и смерти Трепова у Столыпина остался только один сильный противник — Витте, но Витте был в опале и пока был не опасен, хотя никто не хотел верить, что песня Витте спета и что он больше к власти не вернется.

Антагонизм между Витте и Треповым был не только антагонизмом личного и карьерного характера. Он исходил из истоков более глубоких и несколько напоминает тот антагонизм, который существовал между Стиннесом и Штреземаном в Германии.

Витте был представителем интересов крупной буржуазии. Правда, он интересовался и положением крестьянства, и его комиссия по крестьянскому вопросу очень серьезно думала над вопросом о поднятии крестьянского благосостояния.

Но крестьянин интересовал Витте, прежде всего, как покупатель, и его благосостояние — как увеличение покупательной способности, на которой могла бы базироваться крупная промышленность.

Комиссия эта, как известно, была внезапно упразднена Николаем, и все дело передано в мертвые руки похоронных дел мастера Горемыкина.

Эта политика Витте таила в себе, правда, большую опасность, впрочем, производного характера.

Усиленная индустриализация России неизбежно вела к умножению и усилению пролетариата.

Николай, может быть, плохо это понимал, но инстинкт самосохранения подсознательно подсказывал и ему, и дворянской камарилье ощущение грядущей опасности. И инстинкт этот не обманывал.

«Так вот где таилась погибель моя», — могли они все сказать, когда оправдалось предсказание Плеханова, что революция в России может быть только рабочей революцией, или ее совсем не будет.

Столыпин думал спасти Россию другим путем.

Он возмечтал о создании сильных мелкобуржуазных кадров из крестьян-собственников.

Эта мечта была соблазнительна тем, что она не затрагивала интересов дворянско-помещичьих, так как при «ставке на сильных» вся деревенская беднота отдавалась в кабалу помещикам, обеспечивая им дешевые «руки», и не множила столь опасного фабрично-заводского пролетариата.

Николай плохо разбирался и в политике Витте, и в политике Столыпина, но он не доверял и ненавидел Витте, а затем

возненавидел и Столыпина. Эти люди ярких индивидуальностей, сильной воли были, хотя в разной степени, и даровитее, и умнее, и сильнее Николая, они импонировали ему, но он им не прощал их превосходства над ним.

Между тем у него не было более сильных, более энергичных, более преданных и даровитых защитников монархического начала.

Они одни вливали какое-то подобие жизни в обреченный, умирающий царизм.

Но Николай фатально и трагически мирился только с ничтожествами, которые ублажали его самой грубой лестью, показывая вид, что преклоняются перед его умом, перед глубиной его понимания, перед его пронизательностью и даже перед силой его самодержавной воли...

Таковы были остальные — от Сипягина до Протопопова...

Сипягин, например, зная о пристрастии Николая к «тишайшему царю», к Алексею Михайловичу, которого Николай облыжно считал своим предком, устроил у себя комнату в стиле того времени, где и принимал царя.

Как мог Николай серьезно вникать в попытки Витте и Столыпина приспособить как-нибудь конституцию к самодержавию, когда он жил всегда в мире призраков, иллюзий и фикций? В двадцатом веке он жил мечтой о семнадцатом. Устраивались грандиозные придворные балы, на которых Николай щеголял в наряде царя Алексея Михайловича, Александра Федоровна в костюме царицы XVII века, сановники в костюмах бояр. Этот исторический маскарад тешил Николая своей дорогой бутафорией в самые тяжелые дни русской истории. Когда грядущее было так грозно и таило в себе столько бед, Николай тешил себя призрачной мечтой о реставрации столь далекого и столь невозвратного прошлого.

Он даже единственному сыну своему, столь долго и тревожножданному наследнику, дал имя Алексей, не смущаясь тем, что в течение двух столетий после несчастного и жалкого сына Петра I это имя более не давалось наследникам русского престола.

ГЛАВА 9

Русский фашизм

Все, что было в русской жизни темного, некультурного, вся накипь тяжелой и мучительной русской истории, все это цепко держалось за царизм.

Звериный национализм, изуверская церковность, кулаческие и сословные вождедения — все это тянулось к «подножию трона» и там искало опоры и защиты от неотвратимого хода истории, от непобедимых веяний времени, от развала изжившего себя социально-политического строя. Все это создало русский фашизм, или черносотенство.

Европейский фашизм — это судороги европейской буржуазии, попытка как-нибудь отсрочить, задержать надвигающуюся катастрофу.

Там буржуазия имеет еще за собою огромную культурную силу, вековую власть внешне упорядоченной жизни, давно и крепко организованного порядка, блестящие традиции. Там «гробы повапленные»* сверкают еще блестящей мишурой, недавним — до войны — великолепием исторических переживаний, преданиями героической борьбы той же буржуазии с феодализмом, с церковью, с подавлением личности.

Русское черносотенство боролось за изжившее себя самодержавие, за идеалы крепостничества, за услады холопства, за аппетиты отсталого, разорившегося и духовно, и материально дворянства, за бесправие; за полицейско-синодальную церковность.

Царь Николай II был одним из самых некультурных русских людей. Только в самых заброшенных углах России, там, где еще не вымерли герои «темного царства», можно было встретить такую жалкую отсталость. Вместо веры и религии — грубое суеверие и церковная обрядность, полное отсутствие или поразительная скудость умственных интересов, совершенное непонимание творимой истории, какая-то безотрадная душевная плоскость, мелкие движения мелкой души, лживость и лукавство трусливого характера, безысходная пошлость.

Воистину, царь чеховского безвременья, хмурый, унылый, скучный обыватель.

Все, что было на Руси отжившего, все обреченное, разлагавшееся, отсталое и бессильно злобное в чувстве своей обреченности — все это чувствовало в последнем обреченном царе свое близкое, родное. Не было такого отпетого прощелья из союзной чайной, не было такого убожества, обозленного за свою никчемность, который не чувствовал бы в последнем царе родственную душу.

* Поваплить — выбелить или скрасить снаружи (В. Даль). — *Примеч. ред.*

И когда из отбросов жестокой городской жизни, из профессиональных воров и наемных убийц правительство царя формировало банды своих защитников, Николай, по органическому недомыслию своему, готов был верить, что эта гниль и есть подлинный русский народ.

Когда устраивались погромы интеллигенции и погромы евреев, когда наемные убийцы убили Герценштейна, Иоллоса, Караваева, когда самый подлый из русских министров Иван Щегловитов, которого даже некоторые великие князья называли Ванькой-Каином, инсценировал процесс Бейлиса и казенный апофеоз Веры Чеберяк, Николай верил, что он ведет народную и национальную истинно русскую политику. И царь открыто носил на своем мундире почетный знак Союза русского народа, отличие погромщиков и наемных убийц. И даже несчастного мальчика своего, наследника, которого он любил со всей исключительной силой эгоистической любви, он не задумался осквернить этим позорящим знаком.

Банды союзников, «академические союзы» учащейся молодежи, закупленные все для той же «патриотической» политики, пользовались, благодаря покровительству царя, такой силой и такой безнаказанностью, что они могли бы принести стране еще больше вреда, если бы все эти патриоты не были так неудержимо вороваты. Союзные кассы постоянно и неукоснительно разворовывались, «академическая» молодежь — это детище Пуришкевича — прокучивала и пропивала суммы, отпущенные на пропаганду, а наемные убийцы из союзных чайных пропивали и продавали отпущенные им казенные револьверы, редакторы погромных газет постоянно проворовывались и вечно грызлись между собою из-за «темных» денег.

Николай искренне был готов делить с этими защитниками самодержавия свою царскую власть, но и тут, как и во всем, он был бессилён. «Истинно русские» люди очень уж напоминали анекдотического цыгана:

— Что бы ты сделал, если б тебя выбрали царем?

— Украл бы сто рублей и убежал...

Николай не гнушался ни общением, ни личной перепиской с таким субъектом, как издатель «Гражданина», князь Мещерский, ни личными сношениями с таким заведомым негодяем, как Дубровин.

Французский шарлатан Филипп, т. е. бывший лионский мясник Нозьер Вашоль, при нем получил звание русского доктора

и облачился, с Высочайшего соизволения, в мундир Военно-медицинской академии. При нем профессора должны были склониться перед невежественным дегенератом, каким-то Сопоцько, который, без помощи свыше, никак не мог одолеть экзаменов.

Естественно, что Николая лечил тибетский шарлатан и аферист Бадмаев.

При Николае творили административные анекдоты ялтинский генерал Думбадзе, одесский градоправитель Толмачев, нижегородский Хвостов и многие им подобные.

При Николае патриотические аферисты придумали организацию потешных, представлявшую карикатуру на английских бойскаутов, при Николае же процвела азефовщина, зубатовщина, разыгралась гапониада.

Щедрин, изобразивший русскую историю, возглавляемую царями, в своей «Истории одного города», конечно, не мог в своей сатире даже приблизиться к тому кровавому фарсу, каким явилось не в литературном вымысле, а в подлинной истории царствование Николая II.

Но вся эта внутренняя политика, которая стоила внешней, и внешняя, которая соответствовала внутренней, не была еще последней ступенью, до которой опустился царизм.

Впереди еще предстояли Распутин, «министерская чехарда» и последняя война.

В третьей и четвертой Государственных думах Николай имел свою партию, лидерами которой были Марков 2-й и Пуришкевич, а еще раньше там красовались такие монархисты, как Паволакый Крушеван, известный кишиневский погромщик, и минский депутат Шмит, человек, некогда судившийся за шпионство, изблеченный в государственной измене путем продажи немцам каких-то секретных военных чертежей и после этого реабилитированный царем, как специалист по русскому патриотизму.

Русский фашизм, представленный в Думе крайними правыми и националистами, представлял удивительную смесь.

С одной стороны, оплотом этого фашизма было «объединенное дворянство», главные представители которого, впрочем, заседали не здесь, а в Государственном совете, составляя там правое крыло. Сюда значительной частью входили и назначенные члены Государственного совета, вербовавшиеся из отставных или уволенных за негодностью бюрократов, оказавшихся неудобными даже в пределах почти безграничной терпимости царизма.

Эти члены высокого учреждения находились в полной холупской зависимости от царя, так как списки их составлялись ежегодно, и при малейшем проявлении независимости им грозило в ближайшее 1 января не оказаться включенными в список и лишиться присвоенного содержания.

С другой стороны, «Союз русского народа» проявлял демагогические наклонности, стараясь привлечь к себе темные народные массы, рабочих, железнодорожных служащих и городскую голытьбу. Большую роль в этих фашистских организациях играло православное духовенство, высшее — движимое большей частью сознательным и выгодным при Победоносцеве и Саблере черносотенством, низшее — чаще под давлением высшего.

Русская жизнь и русское управление никогда не отличались организованностью, выдержкой, систематичностью. Все обычно шло «через пень колоду». А тут появился новый элемент сумбура.

Шли погромы, преимущественно еврейские. Тут, по крайней мере, русские фашисты делали свое дело и доказывали, что не даром деньги получают. Не могли же полиция и солдаты в мундирах сами громить население, открыто грабить и разорять. Гораздо удобнее было, когда под рукой были «патриоты», которые и проделывали все, а полиция и войсковые части только охраняли погромщиков и поддерживали их.

Мчится по улицам какого-нибудь города — Одессы, Кишинева, Белостока и т. п. — банда налетчиков, громит магазины, квартиры, выпускает пух, ломает тяжелые предметы, ворует легкие, избивает, убивает, насилует... Полиция наблюдает и следит, нет ли где крамольной самообороны, которая могла бы напугать лихую банду, а войска... «пехота движется за нею и тяжелой твердостью своей ее стремления крепит»...

Это еще было дело.

Но «союзники», пьяные, наглые, уверенные в своей безнаказанности, вмешивались в дела управления, грубо кричали даже на губернаторов, терроризировали местные власти. Забирались союзники, например, на железнодорожную службу — и начинались сыск, пьянство, угрозы, нарушение служебной дисциплины, а начальство железнодорожное должно было все терпеть, потому что всякое противление погромщику рассматривалось как проявление неблагонамеренности. Ведь сам царь носил союзный значок и посылал «союзникам» поощрительные телеграммы.

«Железнодорожный» фашизм особенно процвел, когда министром путей сообщения стал «союзник» Рухлов, когда управляющими железными дорогами стали такие субъекты, как юго-западный Ивановский. А в Думе погромщиков защищали и поддерживали Замысловский, Марков 2-й, Пуришкевич, священник Вераксин или епископ Евлогий.

Поддерживали и ограждали их безнаказанность министры.

Считали сами себя «союзники» не иначе, как в миллионах, отдели числились сотнями, телеграммы фабриковались тысячами, субсидии и подачки сыпались миллионами, а когда стряслась революция, все эти призрачные миллионы куда-то бесследно исчезли и, казалось, даже след их простыл. Точно и не было никогда этого навождения на Руси.

И сколько ни толковали о том, что все это скверный мираж, что погромных газет никто не читает, что никаких отделов в провинции нет, а есть только кучки пропойц и воров, Николай верил, что эти погромщики действительно составляют какой-то «Союз русского народа», что этот «союз» — самая надежная опора трона, а не одна преступная непристойность уголовного характера, созданная его же холопами на казенные деньги и на предмет воровства этих самых казенных денег.

И Александра Федоровна получала от этих союзников верно подданные телеграммы — их особенно много фабриковал Штюрмер — и верила, что это рвется к ней глас обожающего ее народа...

ГЛАВА 10

Ритм

Последний Романов, Николай II, — нарушил некий исторический ритм. Этим ритмом русский царизм, давно изживший себя исторически, тесно связавший свои судьбы с трупом исторически мертвого класса, несколько замедлял свое неизбежное падение.

После подъема при Петре I наступила полувековая бестолочь, завершившаяся его гольштинским величеством Петром III Федоровичем.

Умная и ловкая немка Екатерина II спасла царизм.

Павел опять подвел его к пропасти.

«Благословенный» сын его, допустив убийство отца, отдалил катастрофу, но его преемник вновь довел царизм до севастопольского разгрома и краха.

Александр II либерализмом первых лет опять поправил дело, которое — тоже по романовской традиции — сам же испортил.

Александр III продолжал эту порчу, и после него, по традиционному ритму, следовало ожидать либерализма, новых веяний и хоть какого-нибудь приспособления к духу времени.

Но бесцветный Николай II упорно желал идти «по стопам папеньки». Не было дано никакой передышки сверху, и она явилась снизу после Японской войны. Настал 1905 год. Николай ничего не понял и думал всех обмануть, а обманул только себя. Ритм реакции и передышек был нарушен, и весь механизм царизма развалился.

Царизм изжил себя давно, исторически много раньше своего бесславного конца. Но форма, оболочка, еще держалась по традиции, по исторической инерции.

Даже Иван Грозный был одним из образованнейших людей своего времени, и в его политике, даже в его опричнине, в его кровавой и жестокой борьбе с боярством, было много исторического смысла.

Петр I, Екатерина II были выдающимися людьми своего времени, Александр I был тоже человеком незаурядным, но при нем Россия уже стала перерастать своих царей. При нем уже был Пушкин, были декабристы.

Николай I уже сильно отстал от России, от ее более культурного слоя. Наряду с людьми сороковых годов, среди которых были Герцен, Бакунин, Огарев, Белинский, Грановский, Ив. Тургенев, Достоевский, — Николай I, этот казарменный, жандармский царь, уже был анахронизмом.

Александр II сильно отстал от общего уровня шестидесятников еще в лучшие свои годы, а потом он даже не мог плестись в хвосте исторического движения.

Александр III опять был живым анахронизмом. Он и по уму, и по образованию, и по всей своей психике стоял ниже среднеобразованного и среднекультурного русского человека.

Николай II, с его скудным образованием, грубым и темным суеверием, стоял в умственном и культурном отношении ниже среднего русского обывателя.

В нем несоответствие царизма среднему уровню русской культуры сказалось с убийственной наглядностью.

Царизм уж не имел ни малейшего — ни культурного, ни текущего исторического, ни психического и морального — оправдания. Это был труп, который отравлял все вокруг и который привлекал к себе все мертвое, заживо разлагающееся. Престол

стал язвой, которая отравляла весь организм страны. И понадобилось решительное хирургическое вмешательство.

Постепенное падение изжившего себя царизма можно проследить даже на улицах и площадях резиденции.

В постройках Петра I есть большой размах, есть революционный порыв.

Есть значительность и в памятниках времен Елизаветы. Блеском и роскошью отличаются создания Екатерины II.

Великие исторические переживания эпохи Александра I сказались в величавых созданиях русского ампира, в зданиях Главного штаба, в грандиозных ансамблях Сената и Синода, зданиях Адмиралтейства, в величественных творениях гениального Росси — Александринском театре, Театральной улице, Публичной библиотеке и пр.

При Николае величественный ампир становится сухим, скучным и казарменным, но в нем все еще есть сила.

При Александре II — казенное строительство уже иссякает, впадая в ничтожество при Александре III и в невыносимую пошлость и вульгарность при Николае II.

То же и в обстановке дворцов.

Александр I живет в роскоши величественного ампира. Николай строит много, правда, уже похуже, но сам еще пользуется богатым наследием былого величия.

Дальше все хуже, а при Александре III и Николае II цари, даже в отношении внешней культуры, даже в эстетическом обиходе своей жизни, при огромности своих средств, уже отстают от многих частных людей.

Площади украшаются вульгарнейшими памятниками каких-то некультурных ремесленников.

Обстановка собственного жилья Николая II напоминает обстановку разбогатевшего банкира, не очень культурного и лишенного художественного вкуса.

А ведь тут, в области эстетики, двор когда-то задавал тон. Для него строили Растрелли, Росси, Гваренги, Старов и др. Работали художники Боровиковский, Лампи, Левицкий.

А в комнатах Николая II богатая мебель, картины, иконы, олеографии.

Даже и тут, при неограниченных средствах, при неисчерпаемых материальных возможностях, — самая безотрадная отсталость от среднекультурного художественного уровня времени.

Впрочем, царствование Николая II представляет одно единственное художественное исключение — памятник Александру III работы Паоло Трубецкого.

Но этот замечательный памятник и доказывает глубокое недомыслие Николая II.

Это огромное бронзовое недоразумение, которое, стремясь прославить, навеки посрамило, запечатлев подлинный лик коронованного тирана, этот апофеоз отсталости и застоя красноречивее и убедительнее всяких слов.

Впрочем, об Александре III еще возможны споры, как и о некоторых других Романовых. Но Николай II совершенно бесспорен, и сколько бы ни было исторических грехов на русском царизме, все же он мог закончиться не таким бесспорным позором, как царствование последнего из них, он мог бы свалиться не в такую грязную яму.

Между тем Николай II не был каким-нибудь извергом, не был и злодеем. Историческая Немезида «изблевала его из уст своих, потому что он не был ни холоден, ни горяч, а только тепел», той тошнотворной теплотой, которая хуже обжигающего жара и убивающего холода. Ни одно царствование не было таким кровавым и разрушительным, как царствование этого маленького человека среднего ума, средних способностей и дряблой души.

Николай II не был хуже окружавших его. И не его вина, что ни царская мантия, ни огромная власть, ни грозный размах исторического движения не были по росту его малым способностям и мелкой душе. Да и кому они пришлись бы по росту в наши дни?

Царизм исторически пережил себя, заживо разлагался, и Николай II только запечатлел этот распад.

Он сам был обреченной жертвой исторического процесса.

Конечно, не потому погиб царизм, что так плох был Николай II, а потому, что монарх и не может быть хорош.

Царь лично может быть мудр и добродетелен, как Марк Аврелий, но все же монархизм, как и республиканские олигархии меньшинства, обречены, а власть трудовых масс в историческом процессе должна изжить самую необходимость принудительной власти и на этом пути вывести человечество из царства насилия в царство свободы.

Русский царизм мог бы еще, путем конституции и парламентаризма, связать свою судьбу с судьбой буржуазии и таким пу-

тем пытаться продлить свою агонию. Но и это не спасло бы его, потому что он давно изжил свое историческое оправдание, если он когда-либо и имел его.

Разложение царизма не зависело от личных качеств его носителей. В историческом процессе, как и во всех жизненных процессах, все омертвевшее разлагается либо засыхает, деревенеет, каменеет и сметается с пути процессом строения новой жизни...

ГЛАВА 11

Великие князья

После Павла семья так называемых Романовых плодилась и множилась. При Александре III это размножение приняло столь угрожающие для государственного бюджета размеры, что пришлось подумать о сокращении. Конечно, не о сокращении рождаемости в великокняжеском племени, а о некотором сокращении их прав на мужицкую мошну. Издано было новое положение об императорской фамилии.

Очень пагубной оказалась фамусовская традиция «порадеть родному человечку».

Царские братья, дядья и племянники получили весьма видные и весьма ответственные назначения. Но именно ответственности-то они по своему положению царской родни не подлежали.

Образования эти родственники, по обыкновению, бывали весьма скудного, знания России у них естественно не предполагалось, дисциплины служебной, государственной они органически для себя не признавали, и не было на них ни суда, ни расправы.

Вся орава великих князей была новейшей высокопоставленной опричниной, с которой ни министрам, ни вообще правившей бюрократии, ни тем более населению никакой справы не было.

К тому же так как у них у всех были «царственные» аппетиты и никаких «законных» миллионов им не хватало, то они все безудержно воровали.

Николай Николаевич-старший, в качестве главнокомандующего в Турецкой войне 1877–1878 годов, настолько скомпрометировал себя в махинациях аферистов-поставщиков, которые разували народ и морили голодом по невероятным ценам победоносное русское воинство, что начавшееся было судебное дело против мародеров пришлось замять, дабы не судить

заодно с интендантами и поставщиками самого великого князя главнокомандующего.

Михаил Николаевич, бывший наместником Кавказа, воровал там и присваивал великокняжеские имения со всякими естественными богатствами.

Владимир Николаевич вечно нуждался в деньгах, был всегда в долгах и открыл себе хороший источник доходов, когда на месте «убиения» отца его Александра II стали строить грандиозный храм Воскресения.

Деньги на постройку собирали очень долго по всей России, усиленно призывали весь русский народ к жертвам в память «царя освободителя». Председателем строительного комитета был Владимир, и он и жена его Мария Павловна, весело и фривольно покучивавшая с французскими актерами, тащили из денег, стекавшихся на увековечение памяти отца, сколько только могли.

Храм строился очень долго, и многие годы тянулись хищения их высочеств, о чем знали все.

Какой-то секретарь попал даже под суд, ибо, глядя на великого князя, тащили все, кто во что горазд, но подсудимый — стрелочник, предъявил суду записочки Марии Павловны с требованиями о выдаче разных сумм, и дело пришлось скомкать.

Артиллерией ведал Сергей Михайлович, и ничего хорошего, кроме воровства, от этого не получилось.

Флотом ведал Алексей Михайлович, и тут воровство было прямо сказочное. Уворовывали целые броненосцы, которые волшебным образом превращались в умопомрачительные бриллианты, сверкавшие на всяких весьма любимых высочайшим флотоводцем французских опереточных дивах.

Доходило до публичных скандалов, и одна из фавориток Алексея, артистка балета, получила прозвище: *A bas l'état* — к чёрту государство.

Знаменитые «калоши» эскадр Рожественского и Небогатова обошли русскому народу много дорожке самых лучших английских броненосцев, и страшное поражение при Цусиме в значительной мере связано со вкусами великого князя Алексея.

Александр Михайлович тоже примазался к делам мореплавания и занимался тайными аферами. Он же являлся одним из инициаторов той злосчастной аферы с концессиями на Ялу, которая и втянула Россию в войну с Японией.

Великого князя Сергея Александровича пришлось выпроводить из Петербурга, где он слишком явно скомпрометировал себя слишком откровенными проявлениями своих гомосексуальных наклонностей.

Его назначили генерал-губернатором Москвы.

Сергей Александрович был огромный верзила, необыкновенно тупой и злобный.

Это был заядлый крепостник, и очень конфузился, что был сыном Александра II, обидевшего помещиков.

Впрочем, сам он, конечно, править был неспособен и при нем активную роль сатрапа играл знаменитый «вахмистр по воспитанию и погромщик по убеждению», генерал Трепов. А при Трепове состояли такие молодцы, как полицеймейстер Власовский и целый сонм натасканных на злобность чиновников.

В Москве была Ходынка, в Москве процвела зубатовщина и вообще был полный разгул опричнины. Главным цензором был В. Назаревский, некогда лакействовавший при Каткове, затем душивший печать, просвещавший рабочих, вовлеченных в зубатовщину, и на всякий случай бравший взятки.

Там же при великом князе процветал истинно русский Грингмут, прозванный Грянь-Кнут, и вообще творились чудеса.

А когда Сергей Александрович был разорван бомбой Каляева, ненавидевшие его москвичи жестоко острили, что вот, мол, в первый и единственный раз великий князь раскинул мозгами.

Своим мракобесием Сергей Александрович оказывал пагубное влияние на своего племянника Николая II.

Он усиленно толкал царя в объятия черносотенства и изуверской реакции.

Вообще вся история великих князей — это хроника скандалов всякого рода.

Были между ними люди и более приличного склада, но тех держали в черном теле, никаких влиятельных назначений им не давали и вообще с ними не считались или держали их в явной опале.

Николай Николаевич-младший занимался спиритизмом и столоверчением и, по свидетельству Витте, серьезно уверял его, что царь, даже такой, как Николай II, не человек, а нечто большее, нечто среднее между человеком и богом. Если бы он знал Ницше и не был столь религиозен, он, вероятно, сказал бы, что Николай II — человекобог...

ГЛАВА 12

Александра Федоровна

После Екатерины Россия не знала женской политики.

Жена Павла после его убийства хотя и имела свой двор, который был в какой-то оппозиции ко двору Александра Павловича и тихой, скромной Елизаветы Алексеевны, но эта оппозиция в конце концов сводилась к внешнему представительству.

Елизавета Алексеевна тихо и скорбно прожила свой век во все бурное царствование Александра I, никем почти, и прежде всего самим Александром, незамеченная.

Не могла иметь своей политики и жена первого Николая, уже по самому характеру его.

Мария Александровна, жена второго Александра, только тем и известна, что внесла в русский царский род наследственный туберкулез. О ней с любовью говорит в воспоминаньях детских лет своих Петр Кропоткин, бывший пажом. С нею «кроткий» Александр II настолько мало считался, что при ее жизни поселил в Зимнем дворце вторую свою жену Долгорукову-Юрьевскую, с которой он, после смерти Марии Александровны, формально, хотя и тайно обвенчался.

«С нею (с Марией Александровной), — рассказывает Кропоткин, — плохо обращались. Когда Александр женился на Долгоруковой-Юрьевской, ее просто третировали. Когда до Александра II дошло известие о том, что она умирает в Сан-Ремо, он боялся уже ехать туда и выписал ее. Ее привезли умирающей. Я слышал от врачей, что на ней было грязное белье, комнаты ее не проветривались, не были убраны».

Конечно, ни в одной мало-мальски культурной среднеинтеллигентской семье подобное обращение с больной было бы немыслимо...

На принцессу Дагмару, ставшую по наследству от брата женой Александра III, сначала, без достаточных оснований, возлагали какие-то надежды.

Но Александр III был человек тяжелый, суровый и строгий муж по старине, деспотический хозяин в своем доме, и при нем ни жена, ни великие князья никакой своей политики иметь не смели.

На принцессу Алису Гессенскую, которую Александр III, чувствуя приближение смерти, впопыхах сосватал своему сыну, несмотря на то, что она раньше была замужем, никто никаких

надежд не возлагал. И в первые годы царствования Николая царицу как-то не замечали.

Знали только, что эта мелкопоместная немецкая принцесса, англичанка по воспитанию, внучка королевы Виктории, довольно красива, но несимпатична.

Сухая и сдержанная, скрытная и надменная, она и при дворе не нашла друзей и жила как-то одиноко и отчужденно. А жилось при русском дворе, несмотря на весь блеск, азиатскую роскошь и пышность, очень невесело.

Германский кронпринц, гостивший недолго у Николая, пришел в ужас от обстановки царской жизни.

Во время выездов, при обязательных парадах и церемониях, царь и царица так трусили и нервничали, что не могли скрыть своего перепуга от посторонних.

«Однажды, — рассказывает кронпринц, — вечером, несмотря на поздний час, я хотел зайти к царю побеседовать с ним. Каково же было мое удивление, когда в передней, из которой был ход во внутренние покои государя, я увидел на полу человек сто нижних чинов, которые расположились таким образом, чтобы никто не мог пройти мимо них. Мое неожиданное появление вызвало страшный переполох, сопровождаемый угрожающими возгласами, но когда выяснилось, кто я и зачем пришел, то все успокоилось и пришло в порядок».

Царь хотел показать кронпринцу один из исторических дворцов. Выехали в закрытом автомобиле.

«Путешествие наше, — рассказывает кронпринц, — продолжалось около четырех часов и носило невыразимо грустный характер: местность, по которой мы проезжали, казалось, была покинута населением: это объяснялось строгим приказом не выходить на улицу и даже не смотреть в окна при нашем проезде. Видны были только отряды полицейских и солдат, а кругом гробовая, подавляющая тишина. Право, так не стоило жить! Эти миллионы предосторожностей создавали невыносимую атмосферу, в которой нельзя было мало-мальски свободно дышать».

«Я сказал жене, — отмечает кронпринц, — чем жить так, как в тюрьме, я бы предпочел быть когда-нибудь сразу убитым, и тогда все было бы кончено».

Такова была изнанка той блестящей обстановки, в которую попала бедная принцесса, ставшая женой сказочно богатого, «великого русского самодержавного царя».

Александра Федоровна была болезненно застенчива. На людях лицо ее покрывалось нервными пятнами, губы судорожно подергивались. И была она одинока, ни она никого не любила, ни ее никто не любил. Муж — ничтожный и по уму, и по характеру, серенький офицерик, в котором не было ни на один дюйм монарха. А все остальное кругом — враждебно или чуждо и непонятно. Николай — единственный человек, в котором все ее надежды, вся жизнь. Он и дети. Но дети — рождаются все девочки, одна, другая, третья, четвертая. Нет наследника, нет опоры для трона, нет будущего.

И у Алисы развивается истерия и... религиозность.

Православие, обрядовое и церковное, оказывается сильнодействующим и опасным средством для немецких принцесс, воспитанных в строгой простоте и скучной сухости протестантства.

Жена Николая Николаевича Старшего, когда тот стал открыто жить с актрисой Числовой, устроила под Киевом монастырь и стала его настоятельницей. Сестра Алисы, Елизавета Федоровна, после убийства Сергея Александровича, который был не только необычайно туп и жесток, но и страдал извращенными наклонностями, тоже ушла в монастырь и стала какой-то канонисткой.

Алиса Гессенская, т. е. Александра Федоровна, стала не только православной кликушей, но даже хлыстовкой.

У нее и у ее сестры была несколько странная наследственность.

Мать, тоже Алиса Гессенская, дочь английской королевы Виктории, в тридцатилетнем возрасте увлеклась шестидесятилетним Давидом Штраусом.

Знаменитый автор «Жизни Иисуса» и других еретических сочинений тогда уже был сильно потрепан и неудачно сложившейся семейной жизнью, и всякими невзгодами и преследованиями за свое «безбожие».

В политическом смысле он стал ярким реакционером, но в вопросах религиозных он до конца сохранил весь пыл своего радикализма.

И вот им-то увлеклась жена наследного принца Гессен-Дармштадтского.

Штраус сделался самым частым ее гостем. Он прочел ей ряд лекций о Вольтере и затем, с ее согласия, посвятил ей изданную им биографию Вольтера.

Во всяком случае, можно отметить, что интерес к религиозным темам был у нашей Алисы в некотором роде наследственным. Интересна также и та «дистанция огромного размера» от Давида Штрауса к Григорию Распутину, которая отделяет мать от дочери. Любопытно и то, что интерес этот обусловил знакомства и личные увлечения, не совсем обычные для представительниц царствующих домов.

Впрочем, до Распутина Александра Федоровна и Николай опустились не сразу. Сначала был французский шарлатан, доктор Капюс, был мясник из Лиона Филипп, были разные юродивые — Митя-прозорливец и другие.

До какой опасной степени доходила истерия Александры Федоровны, видно из примера ее ложной беременности.

Навязчивая идея о ребенке мужского пола, о наследнике, до того овладела царицей, что, под влиянием Филиппа, она вообразила у себя беременность, чувствовала все ее обычные симптомы и даже соответственно пополнила.

Все и при дворе, а затем и в стране знали про эту беременность, ждали ее; ждали в случае рождения мальчика амнистии и «всемилоостивейшего» манифеста. Но миновали все времена и сроки и все оказалось... пуфом. Беременность оказалась бредом истерички. Однако никто не мог поверить, что беременность была лишь воображаемой, и «верноподданные», смущенные невразумительным официальным сообщением, непочтительно декламировали стихи Пушкина:

Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь:
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку.

Получился скандал не хуже сербского, когда королева Драга объявила о своей беременности, а царь Николай согласился быть восприемником ожидаемой опоры сербского трона, и в Белград был послан лейб-акушер, которому пришлось только констатировать, что никакой беременности нет, а есть только обман. У нас же, по-видимому, был только самообман.

Когда вскоре после этого разразилась белградская дворцовая катастрофа и королевская чета была убита, иные «верноподданные» покачивали головами и пророчили такой же «сербский» конец Николаю с Александрой.

Впрочем, через несколько лет Александра Федоровна действительно забеременела и после четырех дочерей родила наконец сына.

Но в то время она уже стала впадать в то религиозное помешательство, которое затем приняло такую ужасную форму.

Так как и она, и Николай все время взывали к богу и молили о даровании сына, то они искали подвигов святости, придумывая, чем бы подкупить бога. Кто-то надоумил их открыть новые мощи и провозгласить нового святого. Остановились на Серафиме Саровском.

Поехали с большой помпой и, конечно, с большими предосторожностями в Саров, царица там ночью искупалась в чудодейственном источнике, новый святой был возведен в чин. Это происходило в июле 1903 года, а год спустя, в июле 1904 года, Александра Федоровна родила сына...

Этим «чудом» и без того психически неустойчивая Александра Федоровна и «скорбный главою» Николай были окончательно выбиты из колеи. Религиозная мистика в самых темных, некультурных формах совершенно овладела ими, и способность к логическому мышлению была ими утрачена навсегда.

Между тем чудо-то оказалось сомнительным, не только в своей фактической основе — мало ли женщин после нескольких девочек рожают мальчика без всякого участия святых или даже при участии совсем не святых, но чудо оказалось весьма двусмысленным по своим последствиям.

Если бы Александра и Николай еще сохранили остатки здравого смысла, то они должны были думать, что святой старец, в чудодейственность которого они так твердо верили, зло посмеялся над ними.

Наследник-то родился, но мальчик оказался пораженным страшной, таинственной и неизлечимой болезнью.

Редкая болезнь кровоточивости передается только мужскому потомству и ежеминутно угрожает жизни больного, так как малейшее случайное кровотечение может окончиться смертью, ибо кровь утратила способность свертываться и кровотечение очень трудно остановить.

Наследник с трудом ходил, и в 7–8-летнем возрасте его носил на руках приставленный к нему матрос.

Вместо радости рождение наследника внесло в семейную жизнь царской четы вечный страх и ужас. И в политическом отношении появление наследника вместо упрочения трона вносило только новую путаницу и неопределенность.

Ближайший после Николая сын Александра III — Георгий, умер от чахотки, следующий, Михаил Александрович, здоровый, хотя и недалекий (Витте считал его еще менее одаренным, чем Николай, даже родная мать, Мария Федоровна, утверждала, что Михаил и глупее, и безвольнее Николая), с рождением Алексея был разжалован из наследников, а больной и хилый мальчик, ежедневно умирающий, только занимал место, которого он в действительности никогда занять не мог...

В минуты уныния от своей неудачливой судьбы Николай II вспоминал, что он родился в день Иова Многострадального.

Ходынка, японское позорище, 9 января 1905 года, революция, убийства стольких сановников, несчастная конституция, полупомешанная истеричка жена, безнадежно больной наследник, наконец, весь распутинский позор, мировая война и последняя революция.

Это стоит и мрачного заоя жены Василия Фивейского, и истребительного пожара, и сына идиота и последнего крушения веры, когда желанного, спасительного чуда не случилось.

О Николае можно было сказать, как и о Василии Фивейском: «Особенный, казалось, воздух, губительный и тлетворный, окружал его, как невидимое прозрачное облако».

И как не по росту, не по фигуре Николаю была императорская мантия, в которой он бывал только смешон, так не по росту его психической личности были исторические катастрофы и несчастья его жизни. Среди грандиозных катастроф, среди ужасов и бедствий шекспировского размаха, этот царь-недотепа был только жалок.

И крупнейшим несчастьем Николая II была его жена.

Переписка Александры Федоровны с Николаем ярко рисует и эту несчастную женщину, и всю удушливую атмосферу жизни последнего Романова.

Алиса Гессенская в первый приезд свой в Петербург не понравилась и была отослана назад.

Можно представить себе, с какими чувствами и к России, и к царской семье вернулась отвергнутая девушка на свою маленькую родину, в свою семью... К тому же она еще до отъезда испытала всю гнусность обычного придворного холопства.

Вначале перед нею заискивали и лебезили, как перед будущей наследницей и императрицей.

Когда же выяснилось, что она отвергнута, те же пресмыкавшиеся сановники и придворные холопы стали третировать и без того униженную и оскорбленную девушку.

Когда же, ввиду неожиданно смертельной болезни Александра III, некогда было выбирать — императору ведь жениться куда сложнее, чем наследнику, — бедная немецкая принцесса должна была затаить свои чувства и вновь отправиться в эту ужасную Россию. От таких партий бедные принцессы не отказываются.

А чувства Алисы были нерадостные.

Она ненавидела «дикую» Россию, ей был противен вынужденный переход в православие, она питала отвращение к Николаю.

Вместе с Алисой приехала в Россию, в качестве приближенной дамы, баронесса Дзанкова, которая издала свои мемуары.

«Я ненавижу его, я ненавижу его!» — истерически твердила Алиса своей поверенной, говоря о Николае.

«Я, зная тайну сердца будущей императрицы и видевшая, какое чувство отвращения она питала к своему мужу, я не могла прогнать от себя мысли о жизни, какую придется ей вести в далекой чужой стране, о том, сколько горя и слез ей там придется пролить».

Действительность оказалась гораздо хуже и совсем иною, чем предвидела приближенная дама Александры Федоровны.

Ее сопротивление переходу в православие было, конечно, сломлено, и это насильно навязанное ей вероисповедание проникло ее всю до степени дикого изуверства. И навязанный ей нелюбимый муж стал любимым и дорогим, и Россия, та, какую она только и могла ее чувствовать, понимать и воспринимать, стала родной этой англо-немецкой принцессе, и роднился с ее душой именно темный лик России, жестокость, дикость, Россия крепостнических и холопских традиций, национальной нетерпимости, Россия черных сотен, непримиримого застоя, Россия, искаженная всем наследием своей жестокой и нескладной истории, Россия кровавого царизма, темного изуверства, пережитков татарско-византийского наследия.

Другой России Александра Федоровна не знала, не понимала и не признавала.

И в этой России единственной ее опорой был Николай, в котором ей так хотелось видеть настоящего самодержца, повелителя, перед которым все и вся должны были трепетать.

Отсюда и ее воистину «бессмысленное мечтание» сделать из Николая II Николая первого.

Та Россия, которую она только и могла знать, Россия придворного холопства, Россия сановной челяди, естественно вызывала с ее стороны глубокое и заслуженное презрение.

И этим презрением уснащена вся ее переписка с Николаем.

«Дураки», «мерзавцы» — такие эпитеты так и пестрят в ее отзывах о министрах, о дипломатах, о членах Думы.

«В ставке сплошь идиоты, — пишет она, — в Синоде одни только животные», даже такой близкий человек, как знаменитый «генерал от куваки», получает весьма не ласковую характеристику: «Воейков — трус и дурак»!

«Всюду лжецы и враги»...

«Министры мерзавцы; хуже, чем Дума»...

Ясно, что в оценках Александры Федоровны — не все ложь.

Николая она все время усиленно наставляет и толкает на путь самодержавия.

«Милушку всегда нужно подтолкнуть и напоминать ему, что он есть император и может делать все, что ему хочется... Ты должен показать, что у тебя свои решения и воля».

«Как им всем нужно почувствовать железную волю и руку; до сих пор твое царствование было царствованием мягкости, а теперь оно должно быть царствованием власти и твердости — ты повелитель и хозяин России», — пишет Александра Федоровна своему царственному недотепе.

«Когда, наконец, тыхватишь рукой по столу и закричишь на Джунковского и на других, если они неправильно поступают?..»

«Будь более автократом, моя душка, и покажи себя».

И царица всех ревнует к власти своего мужа:

«Ах, мне не нравится, что Николай участвует во всех этих больших заседаниях, в которых обсуждаются внутренние вопросы... Он импонирует министрам своим громким голосом и жестикуляцией. Я временами прихожу в бешенство от его фальшивого положения... Никто не знает, кто теперь император... Похоже на то, что Николай все решает, выбирает, сменяет. Это меня совершенно убивает... все дают тебе дурные советы и злоупотребляют твоей добротой...»

С одной стороны, опасен главнокомандующий Николай Николаевич, потому что, как он ни плох сам по себе, но все же становится популярнее царя; опасна и Дума, опасен Гучков, которого «следовало бы повесить».

«Россия, слава Богу, не конституционное государство, хотя эти твари пытаются играть роль и вмешиваться в дела»...

Александра Федоровна даже знает, какова Россия и что ей нужно, что нужно «нашему» народу...

«Мы не конституционное государство и не смеем им быть. Наш народ не подготовлен к этому, и, слава Богу, наш император — самодержец... Только ты должен выказать больше силы и решимости. Я бы их быстро убрала»...

И все эти политические выпады и сентенции сопровождаются любовными излияниями, порою эротическими интимностями, которые и цитировать неловко, как вообще неловко врывать в супружескую спальню.

Порою их и невозможно печатно цитировать. Все эти бесчисленные поцелуи, объятия, ласки звучат почти искренно и свидетельствуют о том, что Александра Федоровна крепко привязалась к своему мужу и в ее безотрадной жизни это все, что ей оставалось: муж и дети. А политика внутренняя и внешняя — это ведь естественная атмосфера, в которой и ей, и Николаю приходится жить, это их обстановка, их хозяйство, их неизменный антураж. С этим приходится на каждом шагу считаться, от этого зависит безопасность, положение, будущность ее, его и детей.

И Николай привык чувствовать в жене единственную прочную опору, единственного человека, все интересы которого вполне совпадали с его интересами. Все остальные были подозрительны, преследовали свои особые интересы, старались играть на его слабости. Одна жена будила в нем силу и даже утешала его в безволии, от сознания которого он так страдал.

«И ты покоришь тысячу сердец, наверное, твоим милым, нежным, кротким существом и сияющими, чистыми глазами. Каждый покоряет тем, чем Бог его одарил... Каждый своим путем»...

Александра Федоровна покорила также Николая своею ярко выраженной истеричностью. Сопротивляться ее воле было опасно, потому что это вызывало тяжелые истерические припадки, которых вообще уравновешенный, «тихий» и бестемпераментный Николай не выносил. А за истериками следовала полоса мрачной меланхолии, которая угнетала Николая. И Николай привык уступать жене во всем.

И не трудно было ему уступать, потому что он совершенно сроднился с больной душой своей жены. И он тоже уверовал в то, что Распутин послан ему богом для спасения трона и династии, что устами этого темного и хитрого проходимца глаголет сам господь.

Во время какой-то перевязки, которую с обычными асептическими предосторожностями профессора делали наследнику, под подушкой у него с ужасом находят грязную, заношенную жилетку.

— Это так надо, это для исцеления, — лепечет Николай, — это жилет Григория Ефимовича.

Все тяжелые переживания рокового царствования, безотрадное тюремное существование в раззолоченной клетке Царского Села, одиночество душевное, непрерывно настороженная подозрительность во враждебной атмосфере, в неразрывной сети интриг, — все это превратило психически неустойчивую женщину с плохой нервной наследственностью в опасную маньячку.

Александра Федоровна почти всегда чувствует себя больной и несчастной.

«У меня каждый день болит голова, — пишет она. — Я чувствую сердце»...

«До смерти устаю: сердце болит и расширено... Временами чувствую, что больше не могу, и тогда накачиваюсь сердечными каплями»... «На сердце такая тяжесть и такая грусть... такая горечь на сердце и на душе»...

«Я пришла домой и потом не выдержала — расплакалась, молилась, потом легла и курила, чтоб оправиться...»

И вот эта больная, истеричная, почти помешанная женщина хватается за Распутина — и в нем ее помраченная душа, ее затуманенный ум видят последнее и единственное спасение.

В этом враждебном мире он один «друг». Из ее переписки с Николаем видно, как после двадцатилетнего супружества в ней сильно разыгралась чувственность, в этом столь опасном для женщины сорокалетнем возрасте.

А тут этот необычайный мужик, такой особенный, столь непохожий на всех в окружающем ее мире... И как он одновременно умеет действовать и на беспокойную, истерическую чувственность, и на больные нервы, и на сбитую с толка религиозную жажду.

«Бог для чего же-нибудь послал его нам», — пишет она Николаю.

«Очень важно, что мы имеем не только его молитвы, но и его советы».

«Надо всегда делать то, что он говорит. Его слово имеет всегда глубокое значение».

«Не слушайся других, только нашего Друга».

«Григорий кашляет и волнуется по поводу Греции».

Государственная дума, министры, вся внутренняя политика, даже отношения к семье, к великим князьям, политика внешняя,

даже вопросы тактики в дни страшной войны — все это в руках Распутина, и через Александру Федоровну он руководит Николаем.

«Наш Друг просит тебя послать телеграмму сербскому королю, так как он очень тревожится; прилагаю тебе бумажку, которую ты можешь использовать для твоей телеграммы; изложи смысл своими словами»...

«Должна тебе передать следующую просьбу от нашего Друга, внушенную ему ночным видением. Он просит тебя приказать, чтобы начали наступление возле Риги. Он говорит, что это необходимо. Он просит тебя серьезно приказать нашим наступать и говорит, чтобы я написала тебе об этом немедленно».

И военачальникам приходилось считаться на войне, где дело шло о жизни многих тысяч русских людей, с пьяным или шарлатанским бредом темного проходимца, который, однако, своего-то сына, при помощи Александры Федоровны и царя, освободил от призыва...

При дворе Николая и Александры Федоровны не было обычного дворцового разврата.

Но были и до появления Распутина большие странности.

Странны были отношения Александры Федоровны к Орлову, единственному человеку, который отнесся к ней по-человечески в те темные дни, когда Алису, не понравившуюся, отсылали ни с чем.

И Александра Федоровна, и Анна Вырубова, по-видимому, обе были весьма равнодушны к этому блестящему офицеру, злоупотреблявшему наркотиками и обнаружившему патологическую жестокость при усмирениях в Прибалтийском крае. Но обе женщины как-то делили эту любовь, вместе чтили его память и вместе украшали цветами его могилу.

Еще страннее и патологичнее отношения Александры Федоровны к Анне Вырубовой.

В письмах она то возмущается ее развращенностью, то говорит о том, как она вульгарна, неаппетитна, как неизящны ее ноги и живот, и предостерегает Николая от ее назойливости, от любовных сцен, «как в Крыму», то передает мужу нежные поцелуи от этой его любовницы и просит Николая быть с нею поласковее в письмах и телеграммах.

Почти нигде нет выражения ревности, иногда только проskalъзывает чувство не столько ревности, сколько соперничества.

«Когда Аня говорит о своем одиночестве, это меня сердит. Она дважды в день к нам приходит, каждый вечер она с нами

проводит четыре часа, и ты — ее жизнь, и она ежедневно получает ласки от нас обоих. Жажду держать тебя в своих объятиях. Кто бы ни посмел тебя называть “мой собственный”, ты все же мой, мое сокровище».

Здесь есть все, есть и несомненная половая ненормальность, есть и холодный расчет, та «система», которая всегда сквозила и в самом безумии Александры Федоровны. Она систематически опутывала свою сетью Николая, а через него мечтала опутать и всю Россию, в интересах своих и своего несчастного, неизлечимого сына.

Бывает у безумных людей эта удивительная последовательность, логичность и прямолинейная твердость в преследовании ими какой-нибудь бредовой идеи.

Здесь это опасное безумие было страшно тем, что злобный эгоизм недалекой, некультурной и болезненно упрямой женщины играл судьбами полуторастамиллионного народа...

ГЛАВА 13

Государственное распутство

Царствование Николая II было временем глубоко трагическим. Редкому поколению людей выпадают на долю трагические переживания такой силы, какие выпали нам. Но в облике последнего царя не было решительно ничего трагического. Как только дело касалось Николая II, в трагизм истории неизменно врывалась какая-то нелепость: то непристойность фарса, то такая наглядная несообразность, какая ни в какую логику не вмещается.

При дворе, где обязанности святых исполняли Филипп и какой-то юродивый Митя, мог появиться и Распутин.

Сибирский чалдон, с молодых лет отличавшийся пьяной и распутной жизнью, откуда и прозвище Распутин, вдруг увлекся религиозными интересами, шлялся по монастырям и сочинил для себя своеобразное хлыстовство.

Когда «старец» появился в Петербурге, ему было лет сорок. Он, по-видимому, обладал большой психической силой, способностью внушения и незаурядной физической силой. При большом темпераменте и избытке жизненности и живучести Распутин страдал приапизмом* и эротоманией.

* Здесь: пристрастием к спиртному. — *Примеч. ред.*

Все это обуславливало его огромное влияние на женщин, его власть над ними, особенно, конечно, над женщинами неуравновешенными, истеричными.

Его «религиозное» учение создалось на почве его физиологических особенностей.

— Греху не надо противиться, — учил он, — а надо ему отдаваться, чтобы им очиститься. Чистому все чисто.

Эта удобная мораль соблазняла. Экстазы религиозный и сексуальный нередко сплетаются.

Распутин был по-своему умен, хитер, очень себе на уме. Притом у него было одно редкое и весьма ценное свойство. Распутин умел и смел быть и оставаться самим собою. Это кажется так просто, но в этом чаще всего секрет сильной личности и ее влияния на других.

В безотрадную, темную, тюремную и жалкую жизнь царской семьи, с ее единственной надеждой и отрадой — наследником, отравленным страшной и таинственной болезнью, этот сибирский мужик явился как некое откровение из другого таинственного, неведомого мира.

И этот удивительный мужик держал себя так просто, так свободно и непринужденно, как никто не держит себя в придворном мире. В этот мир условности и нарочитости, возведенной в торжественно-парадный культ, ворвалась жизнь, грубая, сырая, непосредственная.

Естественно, что среди всей этой раззолоченной фантазмагории личин, какое бы то ни было подлинное лицо производило впечатление необычайное. И этот крепкий, полный напряженной жизненной силы мужик не мог не производить сильного нервного воздействия и на истеричную женщину, и на хилого, болезненного мальчика, а через них и на зыбкую психику неустойчивого, безвольного, растерянного Николая.

Загадочные изречения Распутина, то темные и нескладные, то неожиданно меткие и яркие, казались откровениями людям, привыкшим только к шаблонам и условностям, отштампованным в установленные словесные формы.

Пошатнувшаяся психика Александры Федоровны и бесцветная психика Николая были совершенно подавлены более крепкой и устойчивой психикой хитрого проходимца.

И не только царская чета поддалась этому наваждению.

В светском, скептическом Петербурге, где никто никому и ничему не верит, где первым признаком хорошего тона считалось

относиться ко всему серьезному и важному в жизни, как к совершенным пустякам, а серьезное значение придавать исключительно пустякам, там вдруг многие уверовали в сибирского проходимца как в пророка и святого. Самая пустота жизни опустошенных душ готова была принять в себя всякое содержание, лишь бы на нем не было печати постылой обычности.

А в этом свете Распутин был, конечно, в высшей степени необычен.

В основе некультурная, блестящая светская чернь, которой двор традиционно задавал тон, преклонилась перед этим необычным мужиком, который был освящен придворным штемпелем и который был так непохож на других.

Кроме того, на женщин, которые не находили успокоения ни в обычной, ставшей слишком пресной, казенной вере, ни в обычном, потерявшем остроту разврате, этот мужик, со своим откровенно грубым эротизмом, уснащенным религиозно-сектантским пустосвятством, был особенно соблазнителен.

А мужчины... те скоро увидели, что и истеричная царица, и скорбный главою царь очутились во власти этого проходимца. Открылся новый путь для проведения всяких вожделений, для неожиданных карьер и осуществления темных дел.

И настало нечто до того удивительное, чего никогда, кажется, и нигде в таком соблазнительно откровенном виде и размере не бывало.

Никакие фривольные новеллы, никакая порнографическая литература не являла ничего подобного тому, что происходило въявь в столичном городе Петербурге в XX веке, на «высоте» престола и в самом высшем, самом избранном, самом блестящем и сановном обществе.

Распутин до конца оставался во всем самим собою. Свои эротические вожделения он проявлял открыто, на глазах у всех.

С дамами самого высшего света его встречали выходящим из бани, и не только с дамами, но и с барышнями. Напиваясь в ресторанах, он открыто хвастал своими похождениями и отношениями к царской семье. Всяким цыганам и девицам из шантана он показывал свои шелковые сорочки, вышитые собственноручно «Сашей», т. е. Александрой Федоровной. И полиция всякого рода, и сыщики трех ведомств только и заняты были тем, чтобы охранять жизнь и спокойствие этого проходимца и по возможности затушевывать эти публичные скандалы.

Шестую часть земного шара, населенную полутора миллионами людей всяких народностей, правил самовластно и самодержавно темный эротоман.

Слово, всякий каприз Григория Распутина стали законом для царицы, а царь уж давно был в полном подчинении у жены.

Конечно, всякий обыватель имеет неотъемлемое право быть под башмаком у жены, и Николай никак не мог понять, почему он, самодержавный и коронованный, не должен иметь этого обывательского права.

И этот увертливый, внешне податливый человек, тут, когда дело касалось полупомешанной истерички жены и ее «друга» Распутина, обнаруживал совершенно исключительную твердость и упрямство.

Самые близкие к царю сановники, люди, которых он уважал и ценил, немедленно теряли расположение царя, свои места и положения, как только они обнаруживали малейшую брезгливость к Распутину.

С другой стороны, самые отпетые негодяи, тупицы и бездарности получали феерические повышения, назначались на самые ответственные должности, вплоть до министров, в самые ответственные моменты, если только они умели подделаться к Распутину.

Безграмотные каракули Распутина на клочках бумаги становились актами высочайшей воли, обязательными для всех.

И вот, на Гороховой, где жил Распутин, ограждаемый и охраняемый сыщиками, за которыми, в свою очередь, наблюдали другие сыщики, под бдительным надзором высших чинов, директора Департамента полиции и самого министра внутренних дел, открылась лавочка, где темный сибирский чалдон, именем царя и царицы, открыто торговал самодержавием.

Распутин не был ни особенно жаден, ни особенно корыстен. Во всяком случае, менее жаден и менее корыстен, чем другие высокопоставленные взяточники и мздоимцы. Притом у него дело было вернее: ему ни в чем отказу не было. Плохо только приходилось дамам или девицам, если они были молоды и красивы и им приходилось прибегать к протекции Распутина.

Без взятки натурой Гришка для таких ничего не делал. Но было немало и таких дам из высшего общества, которые без всякой деловой корысти льнули к Распутину, льстили ему, подделывались к нему, унижались перед ним и добивались его мужской благосклонности.

И все это почти открыто, на глазах у всех и мало стесняясь одна перед другой. Были и такие, что униженно за немалые деньги вымаливали у домашних Распутина его заношенное грязное белье, и чем заношеннее, чем грязнее — тем лучше и дороже.

Никогда еще распутство с такой бесстыдной обнаженностью не становилось государственным установлением.

Дошло до того, что созыв или роспуск Государственной думы, смена министерства, война и мир зависели от Распутина.

Для того чтобы стать министром, губернатором, архиепископом, архиереем, обер-прокурором «святейшего» синода, надо было не побрезгать Распутиным, пройти через его переднюю или допустить, чтобы жена или дочь, если они молоды и красивы, прошли через распутинскую спальню.

Те же, которые уже занимали высокие положения, созданные годами царской службы, заслугами и знатностью предков, должны были обнаруживать свою преданность Распутину, не брезгать им, при случае унизиться перед ним и во всех случаях поддерживать его, беспрекословно исполнять его словесные или каракулями начертанные приказания. Иначе никакие заслуги, никакая близость к царю не спасали.

Наряду с этим шли толки об интимных отношениях Распутина к царице и даже к дочерям царским. Говорилось об этом открыто и уверенно.

Когда уже во время последней войны Николай, неведомо за что, а по одному лишь холопству георгиевской орденой думы, получил георгиевский крест, солдаты открыто говорили:

— Царь с Георгием, а царица с Григорием.

Сам Распутин в пьяном виде, в кабаках открыто хвастал своею близостью с «Сашей», на какой почве происходили скандалы, которые начальству и полиции не всегда удавалось заметить.

Такой скандал, между прочим, произошел у «Яра» в Москве, и генерал Джунковский, не сумевший или не пожелавший его заметить, слетел с места и впал в окончательную немилость Александры Федоровны, а следовательно, и Николая.

Александра Федоровна, при всей своей скрытности и сдержанности, афишировала свою близость к Распутину.

Как же относился ко всему этому Николай, у жены которого оказался такой «друг»?

Николай также относился к нему, как к другу, и стоял за него горой.

Удивительно интересная черта есть во всем этом распутстве — здесь совершенно нет драм ревности. Не нашлось ни одного мужа, который отомстил бы за честь жены, ни одного отца или брата, который отомстил бы за честь дочери или сестры.

И еще удивительнее, что даже женщины не ревновали друг дружку из-за Распутина.

Самым близким лицом к Распутину, его секретарем, поверенной, чиновницей особых поручений и т. д., и т. д. стала Анна Вырубова, дочь сановника Танеева, занимавшего видный пост.

Эта же Анна Танеева, скоропостижно выданная Александрой Федоровной замуж за флотского офицера Вырубова, обретавшегося постоянно в дальнем плавании, была единственной, кажется, фавориткой Николая после его женитьбы.

И в этом выборе сказался вкус Николая, соответствовавший вульгарности всей его жизни и личности. Неизящная, толстая и неуклюжая, неумная фаворитка Николая стала самым близким другом его жены. Она же, Анна Вырубова, была главной и самой доверенной посредницей между Александрой Федоровной и Распутиным. Через нее же шел вернейший путь к протекции Распутина. Вообще Анна Вырубова была главой распутинской секты.

Александра Федоровна не ревновала к Анне Вырубовой ни Николай, ни Распутин, Николай не ревновал к Распутину.

Но обычных «распутинских» отношений между Распутиным и царицей, может быть, и не было.

Впрочем, Илиодор (Сергей Труфанов), в своих записках, озаглавленных «Святой чёрт», приводит такой рассказ Распутина:

«Дорогой он мне говорил о царе с царицей, о наследнике, о великих княжнах, говорил он следующее:

“Царь меня считает Христом, царь, царица мне в ноги кланяются, на колени передо мною становились. Царица клялась, что если от Гриши все отшатнутся, она не поколеблется, но вечно будет считать его своим другом”».

Конечно, Александра Федоровна была во многих отношениях совершенно невменяема.

Вся во власти темных суеверий и узкого фанатизма, она жила в каком-то кошмарном, призрачном мире.

У Александры Федоровны православие превратилось в хлыстовское изуверство, самодержавие — в мечту о превращении

Николая II в Николая I, народность... в увлечение Распутиным, устами которого в ее болезненном воображении говорил подлинный русский народ, Микула Селянинович и его сила черноземная.

Немецко-английская принцесса видела Россию и народ русский только сквозь пестроту реющих трехцветных флагов, в блеске военных и гражданских мундиров, в громе салютов и криках «ура». И она воображала, что в этих криках, раскатывавшихся сквозь частоколы солдатских и полицейских мундиров, звучит подлинная любовь народная к ней, русской царице, и к ее «царственному» сердцу.

В том тумане, в котором жила Александра Федоровна, действительность теряла свои реальные очертания, тут все было фантастично, неведомо и... страшно. Все, что было вблизи, все, что отделяло ее от обожающего царей загадочного народа, было враждебно. Исключение — один Распутин, колдун, чародей и пророк, пришедший оттуда, из того загадочного мира. В нем одном все спасение для нее, для самодержавия, для больного наследника, для этого единственного ее мальчика, в котором вся будущность ее и России.

И, конечно, перед Распутиным и его вожделениями не могли устоять многие натуры, с психикой и не столь расшатанной, как у Александры Федоровны.

Но Распутин был мужик хитрый, лукавый и очень себе на уме. При всей необузданности своей натуры он едва ли рискнул бы дать ей полный простор во дворце. Он знал, что у него много врагов, прежде всего, во всей царской семье, а рисковать своим положением Распутин, в трезвом, по крайней мере, состоянии, не стал бы. А во дворце он ведь не пьянствовал, не напивался. Тут он мог владеть собою.

Притом... Распутин был слишком избалован петербургской знатью.

А царице во дни его фавора было сорок лет, и в этом опасном для женщин возрасте она уже была некрасива, несвежа. Лицо ее, особенно губы, часто подергивались судорогами, нервные пятна покрывали его, выражение же ее лица никогда не отличалось особой привлекательностью.

Распутину нетрудно было сдерживать себя.

Распутина убили. Убил Пуришкевич, подробно рассказавший об этом в своем дневнике; участвовали в убийстве князь Сумароков-Эльстон и великий князь Дмитрий Павлович.

Из этого убийства тогда пытались сотворить героическую поэму. Но как ни восторженно рассказывает об этом Пуришкевич, героического все-таки выходит очень мало.

Заманили безоружного Распутина четверо вооруженных людей в особняк Сумарокова-Эльстона. Приманкой служила — правда, отсутствовавшая — красавица жена Сумарокова-Эльстона, с которой Распутину обещали устроить знакомство. Травили Распутину цианистым калием и в вине, и в пирожках, стреляли в него из двух револьверов, разбивали голову кистенем и еще чем-то, а потом стали, правда, неумело, но весьма обдуманно прятать концы в воду.

Пуришкевич скрылся, уехав в своем санитарном поезде, остальные участники, в том числе и великий князь, давали ложные показания и всячески отрицали свое участие...

Все это на героическую поэму как-то мало походит по стилю...

Притом самое убийство Распутина... не напоминает ли это «доброе, старое» крепостное время, когда за провинившегося барчука секли его сверстника дворового мальчишку...

Не та же ли тут старая крепостническая психика?..

ГЛАВА 14

Катастрофа

Когда П. Н. Дурново, старый и опытный бюрократ и царедворец, предсказал Витте, что Николай II будет «вроде копии Павла Петровича, только в нашей современности», — это оказалось вполне оправдавшимся пророчеством.

Действительно, у «воспитанного», вежливого и застенчивого Николая, внешне очень податливого и увертливого, но внутренне чрезвычайно упрямого, не могло быть тех эксцессов прямой жестокости и необузданного бешенства, какие были обычны у Павла.

Но политика Николая, по своему безумию, нелепости, растерянности и непристойности, далеко оставила за собою все безумства сумасшедшего Павла.

Среди великих князей открыто говорили об опасности, угрожающей династии. Об опасности для России никто из них, конечно, не задумывался. А вот опасность для династии — это был вопрос шкурный, близкий и понятный всем членам дома Романовых.

Но с дней Павла прошло больше столетия.

Если стали невозможны со стороны царя те грубые и резкие проявления безумия, какими отличался Павел, то и все члены семьи Романовых как-то измельчали, выродились, утратили энергию и стали неспособны на дворцовый переворот. О необходимости устранения Николая II говорили, шептались; у иных, у Николая Николаевича, у Владимировичей, даже стали разгрызаться вожделения, но дальше разговоров и шушуканья дело не пошло. Даже на убийство Распутина потребовалась решимость стороннего человека, Пуришкевича, которому один из великих князей только помогал.

Была еще опасность.

Александра Федоровна, среди всяких своих одержимостей, была одержима также манией самодержавия, а так как из Николая II никак невозможно было выкроить настоящего самодержца в стиле Николая I, то явилось опасение, что Александра Федоровна вздумает сыграть Екатерину II. Тем более, что роль Петра Федоровича была Николаю более к лицу, чем роль Николая I.

Явились предположения о необходимости обезопасить династию от Александры Федоровны, заперев ее в монастырь.

Особенно усилились толки о необходимости избавиться от Александры Федоровны во время войны.

Хоть и англичанка по воспитанию и полуангличанка по происхождению, она все же была немецкой принцессой, и родной брат ее дрался против России. Шли толки об измене царицы, об ее симпатиях к немцам, о предательской переписке с Вильгельмом и т. д.

Возбуждал сомнения и патриотизм Распутина, а назначение Штюмера, ставленника Распутина и царицы, человека с немецкой фамилией и вообще весьма подозрительных качеств, подлило масла в огонь.

О Распутине, даже о царице, о темных безответственных силах заговорили даже в Государственной думе, заговорили не только Милюков, но даже такой отъявленный монархист, как Пуришкевич.

А Николай, как нарочно, все больше попадал под влияние жены и Распутина. Правительство стало общим посмешищем, презираемое всеми.

Кавардак был совершенно неопиcуемый. До Штюмера, до этого героя разгрома тверского земства, до этого субъекта, имевшего определенную репутацию вора и низкого льстеца, Николай дошел не сразу, а после головокругительной министерской чехарды.

Побывал в министрах Н. Маклаков, потешавший царя изображением «прыжка влюбленной пантеры» и проводивший с веселой наглостью откровенно черносотенную политику.

Был необыкновенно развязный Хвостов, который при докладах царю надевал погромный значок Союза русского народа с лентами; был Саблер, переименовавшийся в Девятовского и лебезивший перед Распутиным, Саблер, о котором Победоносцев, на вопрос, почему он терпит подле себя такого субъекта, мог только сказать:

— А кто нынче не подлец?

Был даже Курлов, о назначении которого постеснялись опубликовать через Сенат, так что в Сенате отказались принять какую-то бумагу, подписанную им, как товарищем министра внутренних дел. Наконец, был Штюмер с Протопоповым, который оказался просто сумасшедшим, и именно тогда, когда его прогрессивный паралич стал явным, он показался Николаю самым подходящим министром.

Вновь назначенные министры не решались переезжать на казенные квартиры или на всякий случай оставляли за собой свои частные квартиры. Случалось так, что министр, после доклада у Николая, выносил уверенность в прочности своего положения, начинал переезд на казенную квартиру и утром, не успев еще устроиться, среди беспорядка только что перевезенной обстановки узнавал из газеты о состоявшемся своем увольнении.

И все это происходило во время страшной войны.

Франция рада была случаю свести старые счеты с Германией. Англия рада была случаю разрешить свое соперничество с Германией в мировой торговле, Николай, обжегшийся на своей дальневосточной политике, обрадовался случаю взять реванш на Ближнем Востоке, а дельцы, поставщики и заводчики заранее учитывали бешеные траты, барыши и аферы. И все это будто бы из-за Сербии. Перебито и перекалечено было людей в несколько раз больше, чем все население Сербии, разорены были территории, тоже во много раз превышавшие всю территорию Сербии, и истрачено было средств неизмеримо больше, чем стоила вся территория и все имущество Сербии.

Бывший тогда французским послом в Петербурге Палеолог очень откровенно в своих мемуарах рисует роль России в этой войне с точки зрения союзной Франции. Так как Германия была сильнее Франции и могла очень быстро ее раздавить, то Россия

должна была поставлять в возможно большем количестве пушечное мясо, которое своей численностью отвлекало бы возможно большую часть немецких войск.

И целые корпуса посылались на явную гибель, без всякой надежды и без всякой возможности успеха, лишь бы трупами сотен тысяч русских крестьян и рабочих отвлекать немцев.

Война велась так, что жителям театра военных действий, т. е. губерний западной полосы России, свои были страшнее врагов. Поголовные выселения, грабежи, погромы и самая разнузданная бестолочь...

И все же Николай позавидовал лаврам главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, сослал его с перепугу за его «популярность» на Кавказ и сам назначил себя главнокомандующим, хотя едва ли способен был самостоятельно командовать ротой.

После трехлетнего кровавого кошмара, когда Распутин между двумя пьяными оргиями натуживался в заботах о том, созывать ли Думу или не стоит, а если Дума действует, то распустить ли ее или не распускать, — наступил конец.

Распутин был убит, Александра Федоровна окончательно растерялась, Николай — растерянный и жалкий — метался, как угорелый, и всем до смерти надоел, солдатам, рабочим, кадетам, даже октябристам и националистам.

Оказалось все очень просто: Николай убедился, что он царствовал не милостью божией, а попущением народным. А когда народ не захочет, то и приготовленные полоумным Протопоповым пулеметы не помогают. И Николай подписал отречение почти равнодушно и покорно, с каким-то тупым безразличием, с которым он переживал все катастрофы: Мукден и Цусиму, Ходынку и 9 января.

И став обывателем Николаем Романовым, разоблаченным от столь непристальных ему императорской мантии, короны и скипетра, он опять стал «Никой-Милушей», скромным, воспитанным, покладистым человеком и горячо молился своему богу, которого он так долго оскорблял своими кощунствами, и умилял свою стражу скромностью и покорностью судьбе.

Он христосовался с конвойными и даже тайком пробирался в их комнату играть с ними в шашки.

Но как бы монархисты ни старались, из Николая никак не удастся создать легенды. Нет в его личности никакого

материала ни для трагедии, ни для легенды, ни тем более для героической поэмы.

Николай был не хуже окружавших его людей. Как ни был он скуден умом, душой и характером, он по праву презирал тех, которые служили ему.

И Распутин, при всем своем распутстве, был не хуже, а лучше, даже честнее и умнее тех, которые толпились в его передней, всячески унижались и заискивали у него. Был лучше таких сановников, как Саблер, который поклонился ему в ноги, после того, как получил через него назначение в обер-прокуроры Святейшего Синода.

Этот темный мужик своим немудреным крестьянским умом понял, что за мразь эти сановники и министры, все эти дамы и государственные люди. И он по праву презирал их и третировал их, видя, какая гниль скрывается за всем этим блеском и треском чинов, положений, родовитости, внешней культуры и «образованности».

Презирал он, надо думать, и Николая, и Александру Федоровну. Ибо он все же был умнее.

Николай II мог быть и красив, как Аполлон, величествен и грозен, как Николай I, мог быть и либерален, и даровит, но исторически он все равно был обречен, потому что сам царизм, независимо от личных качеств его представителей, был давно обречен...

И эту обреченность как-то чувствовал последний царь, и был он перед лицом уже надвинувшейся катастрофы как-то странно рассеян, равнодушен и безразличен, хотя осознать умом ничего не мог.

Когда революция уже охватила Петроград, когда солдаты братались с народом, когда Родзянко выходил из себя, стараясь что-то спасти, когда министры арестовывались рабочими и студентами, и даже помешанный Протопопов перестал вызывать дух Распутина, когда сановники, переодетые, прятались в дворницких или у знакомой прачки, а на улицах развевались красные флаги, Николай, в ответ на тревожные телеграммы Александры Федоровны, что Окружной суд горит, что войска переходят к народу, телеграфирует 28 февраля 1917 года по-английски из ставки:

«Мыслями всегда вместе. Великолепная погода. Надеюсь, почувствуете себя хорошо и спокойно. Любящий нежно Ника».

Дочь доктора Боткина, Т. Мельник-Боткина, убежденная монархистка, в книге, изданной в Белграде, сообщает, что даже самые преданные, старые царские слуги, последовавшие за ним в Тобольск, вели себя возмутительно.

«Даже в это трудное время, — говорит Т. Боткина, — преданность придворной прислуги их величествам не помешала им красть провизию, подавать невероятные счета, съесть присылаемые их величествам подарки и напиваться до того, чтобы ползать мимо комнаты их величеств на четвереньках».

Еще один штрих из истории общения царской семьи с «народом».

При наследнике, который и в десятилетнем возрасте часто не мог сам передвигаться, состоял дядька из матросов, Деревенько, который носил мальчика на руках.

Этот Деревенько, без которого маленький Алексей почти не мог существовать, естественно, стал почти своим человеком в царской семье.

И вот, когда как-то по недоразумению или по ошибке случайно вскрыли его сундук, он оказался наполненным украденными в разное время вещами...

Николай II не хотел дать русскому народу конституции и был по-своему прав. Но и русский народ был по-своему прав, когда не очень соблазнился этой конституцией.

У Щедрина немецкий «мальчик в штанах» корит русского «мальчика без штанов»:

«— ...Вот уже двадцать лет, как вы хвастаетесь, что идете исполинскими шагами вперед, а некоторые из вас даже и о каком-то “новом слове” поговаривают — и что же оказывается? — что вы беднее, нежели когда-нибудь, что сквернословие более, нежели когда-либо, регулирует ваши отношения к правящим классам, что Колупаевы держат в плену ваши души, что никто не доверяет вашей солидарности, никто не рассчитывает ни на вашу дружбу, ни на вашу неприязнь... ах.

Мальчик без штанов: — Ахай, немец! а я тебе говорю, что это-то именно и есть... занятное.

Мальчик в штанах: — Решительно ничего не понимаю.

Мальчик без штанов: — Где тебе понять! Сказывал уже я тебе, что ты за грош чёрту душу продал, вот он теперь тебе и застит свет.

Мальчик в штанах: — “Сказывал!” Но ведь и я вам говорил, что вы тому же чёрту душу задаром отдали... Кажется, что и эта афера не особенно лестна...

Мальчик без штанов: — Так-то задаром, а не за грош. Задаром-то я отдал — стало быть, и опять могу назад взять...»

Неужели и Николая II любили?

Как это ни странно — иные любили и любят до сих пор.

Она не очень распространена, эта любовь, даже очень не распространена, но она все же существует, и в загадке этой любви интересно разобраться.

Не буду разбираться в идее монархизма и царизма вообще, с которой необходимо идейно бороться.

Исторические пережитки вообще обладают большой живучестью, и хотя революция в психике обыкновенно предшествует революции в жизни, но многое в психике переживает всякие революции.

Переживают многие бытовые навыки, переживают религиозные традиции, переживают и родственные или монархические чувства и настроения. Самое трудное в революции не самый переворот, не смена одних форм политических и социальных другими, а закрепление завоеваний революции в быте, в чувствах, навыках и настроениях.

Николая любили многие обыватели из тех, которым не приходилось непосредственно и лично страдать от его политики.

Николай сам был типичным обывателем, и обывательские души чувствовали свое душевное родство с ним.

Царь, облеченный такой почти мистической властью, таким почти сверхъестественным могуществом, неограниченный повелитель миллионов и вместе с тем такой типичный обыватель.

Разве это не мило, не трогательно?

Всякая мещанская душа, вернее, всякое мещанство души чувствовало свое духовное родство с этим **своим** царем.

Могли ли не любить Николая те бесчисленные читатели и в особенности читательницы, которые так решительно предпочитали Вербицкую Толстому и Достоевскому?

Что такое мещанство души? Это прежде всего удовлетворение малым и мелким. О, не в смысле материальном, тут у мещанской души жадность непомерная, аппетит чудовищный. Об этом свидетельствует вся буржуазно-мещанская культура. Удовлетворение культурно, идейно малым — вот суть мещанства души.

И вот царь, «божий помазанник», обладающий сам почти божеской властью, такой мещанин, с таким ничтожным образованием, с такой мелкой обывательской душой, такой близкий,

понятный. И такой скромный, застенчивый... Положим, Шопенгауэр как-то заметил, что, встречая очень скромного человека, он склонен подозревать, что у него достаточно оснований для скромности. Но, во-первых, Шопенгауэр писал не для мещанских душ, во-вторых, разве эта достаточность оснований не трогательна?

Любовь-жалость питали к царю-недотепе, к его «двадцати двум несчастьям», к жертве злой истерички жены, к сыну сурового и тупого деспота-отца, к отцу жалкого, неизлечимого больного ребенка. Сама неотвратимая обреченность Николая, слишком очевидная даже для самых непроницательных глаз, питала эту любовь-жалость к нему.

Вне политики, в плоскости обывательского бытия, Николай мог быть и «симпатичным».

Его нечестность, его лживость и коварство — все это проявлялось именно в области политики, где он был решительно не на месте и не в своей тарелке. Эти качества были естественным оружием слабого, неумелого, робкого человека.

Как обыватель, как армейский поручик, как помещик Николай мог бы прожить свою серенькую незаметную, ничем не отмеченную жизнь и «добродетельно», и прилично, и благополучно, и даже весьма «симпатично». Ибо Николай был именно «симпатичен» в том обывательском смысле, в каком этот термин прилагают к человеку, который ни холоден, ни горяч, ни особенно преступен, ни слишком добродетелен, ни очень умен, ни чрезмерно глуп, ни ангельски прекрасен, ни дьявольски безобразен. Он представлял бы образец милой золотой середины.

Но, к несчастью, он дал себе труд родиться наследником огромного царства на перевальном изломе русской истории, в эпоху войн и революций... и ему пришлось тратить так много пороху...

Может быть, он и тратил его так много потому, что не он его выдумал...

Когда вникаешь в историю русского царизма, в этот длинный свиток преступлений, глупостей, кровавых кошмаров, только диву даешься, как могла все-таки уцелеть несчастная Россия и сохранить в себе столько великих сил и великих возможностей.

На «святой Руси» принято было говорить, что ее всегда спасает Николай-угодник.

Может быть, и в этом случае небесный патрон царя Николая постоял за свою Русь и послал ей напоследок такого царя.

При другом царе, при человеке иного характера и иного закала, язва царизма, в течение веков разъедавшего тело России и растлевавшего ее душу, не была бы так быстро и бесповоротно изжита.

Николай хорош тем, что он был бесспорен. Любители царизма могут еще спорить о таких царях, как Петр I, как Екатерина II, как Александр I, II и даже III, даже о первом Николае, но второй Николай — бесспорен. По-обывательски и в плоскости обывательской жизни можно еще о нем спорить, но в области исторической, как историческое явление, как царь, Николай II совершенно и окончательно бесспорен.

В нем царизм сказал свое последнее и неизменное слово.

Чудо и предстательство за «святую Русь» Николая угодника сказались в том, что последний Романов так облегчил дело революции в ее политическом фазисе, в свержении царизма... Политическая надстройка, веками закрывавшая от подлинной России свет солнца, рухнула в одночасье и открыла путь революции социальной.

В тот февральский день, когда перед памятником Александру III казак, вместо того, чтобы врубиться в восставший народ, обратил свое оружие против врага народа и убил полицейского пристава, был концом того, чему начало положил Николай 9 января 1905 года, расстреляв доверчиво и благоговеино шедших к нему рабочих.

Крестьянство можно было обманывать долгие века, рабочих — только немногие годы.

От 9 января 1905 года до 27 февраля 1917 года прошло всего с небольшим двенадцать лет...

О покойниках принято говорить только хорошее — или молчать.

О покойном царизме молчать трудно, потому что жив еще монархизм и бродят по Европе связанные с ним вождедения и мечты.

И Екатерина II, с ее Наказом и «вольтерьянством», и Александр I, с его конституционными мечтами, и Александр II, с его реакционным либерализмом, и Николай II, с его провокаторской конституцией, все они пуще всего охраняли свое самодержавие и абсолютизм своей власти, не говоря уже о Николае I и Александре III. И были они по-своему правы. Царизм, монархизм имеют смысл только как самодержавие, как власть неограниченная и самодержавная.

Конституционализм и парламентаризм — обман, компромисс или лицемерие.

Все эти ограничения неизбежно сводятся либо к фактическому упразднению монархической власти, на место которой становится власть олигархическая, а затем буржуазно-классовая, как в Англии, либо цезаристская, как во Франции, при Наполеоне.

Монархизм обречен, а господство трудящихся есть неизбежный грядущий день истории.

Абсолют изжит уже во всех областях, прежде всего в религии и морали, где он был сильнее всего и где из абсолютной власти царя небесного выводилась абсолютная власть царя земного, царя «Божией милостью». Теперь абсолют изжит даже в области точных наук, даже в математике и физике, где воцарился принцип относительности.

Николай II довел принцип царизма до нелепости, до самоотрицания, и в этом его бессознательная и невольная заслуга перед революцией.

